**Транспортная метафорика Макса Вебера**

Сергей Козлов

Мне не нужны ваши стихи и рассказы, мне нужно расписание поездов! <…> Всякий раз, когда поезд приходит к станции, я чувствую, что он прорвал засаду, победил в битве с хаосом. Вы брезгливо сетуете на то, что после Слоун-сквер непременно будет Виктория. О нет! Может случиться многое другое, и, доехав до нее, я чувствую, что едва ушел от гибели.

Г.К. Честертон. Человек, который был Четвергом (пер. Н. Трауберг)

Оно грандиозней Святого Писанья…

Борис Пастернак о железнодорожном расписании

**1. К классификации авторов**

Рассматривая историю гуманитарного знания последнего столетия как целое, мы наталкиваемся на одну дихотомию, которую не всегда замечаем и о которой до сих пор недостаточно задумываемся. Выдающиеся гуманитарии XX века довольно отчетливо делятся на две группы. С одной стороны — основатели дисциплин и школ, вожди направлений, организаторы науки; с другой стороны — фигуры, которые могут быть названы единоличниками или одиночками. К первой группе относятся Дюркгейм и Фрейд, Ригль и Якобсон, Февр и Бродель, Лотман и Бурдье; яркими примерами второй могут служить Зиммель, Беньямин или Бахтин. В принципе, само наличие этого разделения становится нам видно только тогда, когда мы сталкиваемся с представителями второй группы — именно они являются теми людьми, которые представляют собой проблему; пока их нет — нет и проблемы. Зато когда такой человек появляется на сцене, он навсегда становится для современников и потомков камнем преткновения — то есть носителем скандала, если вспомнить исходный греческий смысл слова «скандал». Обращаясь к наследию этих единоличников, вся-кий гуманитарий, если только он не совсем лишен чуткости, оказывается обречен на рефлексию о социальных и культурных типах знания.

Попытку такой рефлексии мы находим, например, в очерке Ханны Арендт о Вальтере Беньямине (Арендт 2002, с. 176—178). Арендт пытается описать специфическую социокультурную роль Беньямина, исходя из феномена посмертной славы: Беньямин — один из тех авторов, к которым слава приходит посмертно (другим примером из этого же ряда служит для Арендт Франц Кафка). Как связан характер творчества Беньямина или Кафки с посмертным характером их славы? Слава по своей природе социальна, пишет Арендт; по словам Сенеки, для славы мало мнения одного человека, и в этом — отличие славы от дружбы или любви. Всякое же социальное признание основано на общепризнанных классификациях: в обществе каждый должен отвечать на вопрос «что ты есть», а не на вопрос «кто ты есть». Но вопрос «что ты есть» не допускает ответа: «я уникален» — такой ответ будет попросту лишен смысла. Между тем, и Беньямин, и Кафка были непоправимо уникальны. Посмертность славы, по мнению Арендт, связана с принципиальной неклассифицируемостью автора: посмертная слава — удел тех, кто не поддается классификации, то есть тех, чье творчество и не вписывается в уже существующий порядок, и не образует нового жанра, который сам мог бы стать основой для будущих классификаций. В рассуждениях Арендт следует особо подчеркнуть три момента: 1) феномен неклассифицируемости оказывается равно характерен и для гуманитарной мысли (Беньямин), и для художественного творчества (Кафка); 2) творчество неклассифицируемых авторов «не образует нового жанра»1, то есть оно в принципе непродолжаемо: речь идет об «абсолютной оригинальности, не возводимой ни к какому предшественнику и не терпящей никакого преемника»2; 3) посмертная слава ни в коем случае не означает абсолютной безвестности при жизни — как раз наоборот, посмертной славе обычно предшествует прижизненное признание со стороны «избранных» . Просто этих «избранных» всегда бывает немного: прижизненный удел единоличника — широкая известность в узких кругах.

Говоря о феномене «неклассифицируемых» («unclassifiable ones»: сама внутренняя форма слова заставляет вспоминать о «неприкасаемых» — то есть о «париях»), Арендт никак не очерчивает границы этого феномена. Однако совершенно ясно, что Арендт задумывалась о феномене неклассифицируемости в прямой связи со своими постоянными размышлениями об изгойстве как еврейской судьбе 3. Об этом недвусмысленно говорит само сопоставление Беньямина с Кафкой: Кафка олицетворял в глазах Арендт судьбу еврея как парии 4. Неклассифицируемость оказывается для Арендт прямым следствием неспособности еврея-парии включиться в какое бы то ни было сообщество. В предисловии к подготовленному ею американскому сборнику статей Беньямина «Озарения» Арендт вписывает Беньямина в более длинный ряд, сконструированный все по тому же комбинированному национально-социальному признаку: «Часто эпоха метит своим клеймом тех, кто был меньше других подвержен ее воздействию, кто держался от нее дальше прочих и кому пришлось поэтому вынести больше остальных. Так было с Прустом, с Кафкой, с Карлом Краусом, так было и с Беньямином» (Арендт 2002, с. 196). Не то чтобы два множества — евреев и одиночек — были связаны у Арендт отношениями взаимно однозначного соответствия, отнюдь нет, — но, конечно же, все размышления Арендт о современности так или иначе вращаются вокруг судьбы евреев, а из всех евреев для Арендт наиболее важны евреи-маргиналы. Еврей-маргинал предстает как маргинал по преимуществу, как средоточие и образец маргинальности вообще.

Наша перспектива рассмотрения — изначально другая. Нас интересует типология гуманитарного знания в XX веке. В этой перспективе еврейство не выступает как дифференциальный признак: евреи в равной мере олицетворяют любой тип гуманитарного знания 5. Это относится и к тем двум типам знания, о которых мы ведем речь и которые могут быть условно названы доктринальным и персональным. Знание первого типа может быть отчуждено от первооткрывателя; оно поддается трансляции и адекватному воспроизводству; такое знание тяготеет к институционализации. Знание второго типа не может быть отчуждено от первооткрывателя: оно может быть транслировано и воспроизведено лишь как сумма цитат; попытки развить это знание обычно производят впечатление рабской подражательности и пародийного эпигонства. Продуктивное развитие доктринального знания происходит в рамках единой школы; продуктивное развитие персонального знания может происходить только в рамках случайной встречи одного одиночки с другим таким же одиночкой; в ходе этой, чаще всего заочной, встречи исходное знание подвергается непредсказуемому преломлению и трансформации: такое развитие знания лучше всего описывается бахтинской концепцией диалога (которая представляет собой не что иное, как откровенную автохарактеристику).

Разумеется, безличность и транслируемость напоминает нам о принципах естественно-научного знания, а персонализированность и неповторимость — о принципах искусства. Колебание гуманитарных наук между доктринальным и персональным полюсами в точности соответствует постоянному колебанию этих наук между идеалом естественно-научного знания и идеалом художественной литературы 6. Но свести разницу двух рассматриваемых нами типов знания к жесткой антитезе «науки» и «творчества» и на этом успокоиться, считая достигнутую ясность достаточной, означало бы пожертвовать объемностью ради плоскости. Если же мы хотим видеть перед собой не плоскую таблицу, разделенную на две графы, а многомерную проблему, то мы должны, в первую очередь, осознать, что описанные выше доктринальный и персональный типы гуманитарного знания — это не две партии, не две группы реальных людей, а именно типы — в том смысле, в котором говорил об идеальных типах герой этой статьи Макс Вебер, — то есть абстрактные конструкты, утопические модели. Доктринальное и персональное знание — это два логических предела, к которым могут сколь угодно близко подходить реальные гуманитарии, никогда не сливаясь с абстрактной моделью в единое целое. Особый интерес, однако, представляют промежуточные случаи, лежащие между двумя полюсами. Но, прежде чем говорить об одном из таких случаев, еще раз вернемся к очерку Арендт о Беньямине.

В беглых рассуждениях Арендт о судьбе неклассифицируемых авторов многое осталось за рамками рассмотрения. Арендт вовсе не коснулась, например, вопроса о сущности и причинах того конъюнктурного сдвига, который приводит в какой-то момент к появлению посмертной славы. У Арендт не было также повода обратить внимание на тот факт, что «посмертная» слава может прийти к неклассифицируемому автору еще до его физической смерти (случай Бахтина). Если о многом у Арендт не сказано, то само сказанное ею требует детализации и нюансировки — и, может быть, в первую очередь это относится к тезису об абсолютной оригинальности, не имеющей ни предшественников, ни преемников. Этот тезис принципиально важен для Арендт, поскольку он представляет собой проекцию ее заветной идеи о том, что пария реализует себя в настоящем, борясь и с прошлым, и с будущим одновременно. Однако вполне ли верен этот тезис в том виде, как он сформулирован в очерке о Беньямине? Сама Арендт иллюстрирует этот тезис на примере невоспроизводимости творчества Кафки; Беньямин в данном случае остается вообще за кадром. Показательно, что Арендт полностью обошла стороной вопрос о предшественниках Кафки: при том, что, как известно, эссе Борхеса «Кафка и его предшественники» было опубликовано в 1952 году. Но, если говорить не о Кафке, а о Беньямине, и не о преемниках, а именно о предшественниках, — можно ли сказать, что само творчество Беньямина в принципе лишено предшественников, лишено генеалогии — лишено и для Беньямина, и для нас, его читателей?

Вопрос о предшественниках действительно тесным образом связан с вопросом об оригинальности неклассифицируемых авторов. Но ответ на вопрос о предшественниках, как нам кажется, одновременно и более прост, и более сложен, чем ответ, предложенный Ханной Арендт. На самом деле, неклассифицируемые авторы имеют слишком много слишком разных предшественников — именно поэтому такие авторы не могут быть вписаны в связную генеалогическую последовательность. Разнородность предшественников оказывается равнозначна их отсутствию. Оригинальность не-классифицируемых одиночек структурно подобна оригинальности симулякров в трактовке Жиля Делёза: эта оригинальность является результатом интериоризации как минимум двух расходящихся рядов (Делёз 1993, с. 53). Речь идет не просто о различных рядах, но о рядах расходящихся, несогласуемых — таких, как иудаизм, барокко, гётеанство и марксизм — у Беньямина, неокантианство, ницшеанство и православие — у Бахтина. Делёз называет продукты такого скрещения симулякрами; мы бы предпочли говорить о неустойчивых гибридах. Тот баланс между расходящимися рядами, который устанавливают для себя эти гибридизированные одиночки, слишком прихотлив, неустойчив и ненормирован, чтобы его можно было удерживать неограниченно долго. Потому Беньямин, Бахтин и другие подобные авторы не могут быть опознаны как принадлежащие к тому или иному идейному ряду — и не могут образовать «нового жанра», который будущие поколения могли бы воспроизводить вновь и вновь.

Теперь обратимся к герою этой статьи. Общеизвестная «сложность» фигуры Макса Вебера выражается, в частности, и в его промежуточном положении по отношению к полюсам доктринального и персонального знания. С одной стороны, все научное наследие Вебера обладает несомненными чертами доктринальности: оно, при всей внешней разорванности, отличается глубокой внутренней систематичностью 7; оно вписано в рамки институционального (а именно немецкого университетского) дискурса; оно изначально претендует на общезначимость выводов, на транслируемость полученного знания и на возможность его адекватного развития другими учеными 8. Доктрина Вебера, при всем дисциплинарном разнообразии своих идейных источников, отличается в целом принципиальной однородностью: в ней нет той гибридности, какая есть в творчестве Беньямина или Бахтина 9. Но, с другой стороны, фигура и судьба Вебера обнаруживают несомненные черты сходства с фигурами и судьбами носителей персонального знания: не поддающаяся никаким классификациям уникальность 10, ярко выраженный феномен посмертной славы 11, полное отсутствие прямых преемников 12.

В этой статье нас будет интересовать именно персональный аспект трудов Вебера: тексты Вебера будут рассматриваться нами не как учение, а как творчество, неотъемлемое от личности творца и насыщенное экзистенциальным содержанием 13.

**2. К классификации метафор**

В 1942 году профессор философии и эстетики Калифорнийского университета (Беркли) Стивен Коберн Пеппер (1891—1972) издал свой opus magnum — книгу, которая называлась «Гипотезы о мироустройстве. Исследование эвидентности» (Pepper 1942). В книге излагалась разработанная Пеппером система классификации философских концепций. Оригинальность этой системы состояла в классификационном критерии: основание для классификации Пеппер усмотрел в исходной метафоре, на которой строится любая философская теория. Согласно рабочей гипотезе Пеппера, процесс познания происходит следующим образом:

Человек, желающий постичь мир, ищет ключ к его пониманию. Он выбирает какую-то область фактов, доступных пониманию на уровне здравого смысла, и смотрит, не сможет ли он понимать другие области в терминах данной. Эта исходная область становится, таким образом, его базовой аналогией, или коренной метафорой [root metaphor]. Он описывает, насколько это в его силах, характерные свойства данной области или, если угодно, выявляет ее структуру. Из списка этих структурных характеристик формируются основные понятия объяснения и описания. Их мы называем набором категорий. Эти категории становятся исходным пунктом для изучения всех других областей фактов, исследовавшихся или не исследовавшихся ранее. Предпринимается попытка интерпретировать все факты в терминах этих категорий. В результате может потребоваться уточнение и приспособление категорий к фактам, так что первоначальный набор категорий обычно изменяется и развивается (Pepper 1942, p. 91; рус. пер. А.Д. Шмелева цит. по: Маккормак 1990, с. 383, с изменениями).

Проиллюстрировав эту модель на примере развития коренной метафоры «порождающая субстанция» от Фалеса Милетского до Герберта Спенсера, Пеппер подробно развивает несколько принципиальных постулатов, или, как он выражается, «максим»: 1) определенная гипотеза о мироустройстве определяется своей коренной метафорой (так, теории Фалеса, Анаксимена, Эмпедокла, Телезио и Спенсера суть одна теория, поскольку все они производятся из одной и той же метафоры); 2) всякая гипотеза о мироустройстве автономна; 3) эклектизм вносит путаницу (одна гипотеза о мироустройстве несовместима с другой); 4) понятия, утратившие контакт со своей коренной метафорой, становятся пустыми абстракциями (всякое использование понятий, лишенное памяти о коренной метафоре, бесплодно).

Концепция Пеппера органично вписывалась в научный контекст своего времени. Интеллектуальные поиски самых разных людей и течений были сосредоточены на выявлении логического каркаса мировой истории, на поиске инвариантов и элементарных единиц исторического процесса («Постижение истории» Тойнби, начавшее выходить в 1934 году; «Великая цепь бытия» Лавджоя, 1936; «Моделирование истории» Кено, 1945; «Европейская литература и латинское Средневековье» Курциуса, 1948). Происхождение абстрактных понятий из метафор также было в ту эпоху остро актуальной научной темой, наиболее масштабно разрабатывавшейся на античном материале (книга Ричарда Онианса «Истоки европейской мысли», рассылавшаяся исследователям в виде корректур начиная с 1935 года, вышла отдельным изданием в 1950 году; статьи Бруно Снелля «Сравнение, метафора, аналогия» и «Формирование научных понятий в греческом языке» вошли в его книгу «Открытие сознания», 1946). Отличие Пеппера от большинства вышеперечисленных авторов состояло в том, что Пеппер не был ни филологом, ни историком. Он был философом, и не просто философом, а американским философом-прагматистом, полностью усвоившим свойственное этой породе людей здоровое отсутствие пиетета перед исторической традицией, — хотя, в отличие от подавляющего большинства американских прагматистов, Пепперу всегда был присущ глубокий интерес к метафизической проблематике философии 14. При том, что концепция Пеппера принимает во внимание исключительно историю западной мысли (в книге нет и намека на существование других способов мышления), история эта нужна Пепперу лишь как сырье для глубокой логической переработки, производимой согласно техническим стандартам, которые были установлены самим Пеппером. Результатом этой логической переработки стал предложенный Пеппером список «гипотез о мироустройстве». Вот как рассказывал об этом списке сам Пеппер:

Во всей истории человеческой мысли было, вероятно, около семи гипотез о мироустройстве (понимаемых в этом широком смысле). В моей книге излагаются причины, по которым лишь четыре гипотезы из этих семи заслуживают сегодня серьезного рассмотрения. Прочие настолько уступают по своей эмпирической обоснованности этим четырем наиболее адекватным гипотезам, что только опора на эти четыре гипотезы позволяет нам рассчитывать на достижение здравых суждений (Pepper 1946, p. 9).

Эти четыре гипотезы Пеппер называет «формизм», «механицизм», «органицизм» и «контекстуализм»15. Каждая из них определяется своей коренной метафорой. По определению Пеппера, «коренной метафорой формизма является сходство» (Pepper 1942, p. 151). С механицизмом и органицизмом (точнее, с их коренными метафорами) все сравнительно понятно. Что же касается контекстуализма, то, по словам Пеппера, «если исходить из обиходных понятий, чтобы указать на отправную точку контекстуализма, наиболее подходящим понятием будет, наверное, историческое событие» (Pepper 1942, p. 232).

Сегодняшнего читателя наиболее поражает в книге Пеппера постоянное сочетание очень продуктивных исходных посылок с сомнительными и двусмысленными выводами. На наш взгляд, истоком всего того, что мы оцениваем как затруднения, натяжки и двусмысленности у Пеппера, является неудачное, методологически не продуманное смешение теории и истории. Теория и история здесь не помогают, а сплошь и рядом мешают друг другу. Это проявляется как на уровне отдельных звеньев его концепции, так и на уровне всей концепции в целом. Если говорить о концепции в целом, то она все время балансирует между эксплицитно заявленным «прагматическим» смыслом (история — открытый процесс, инструменты человеческого познания все время совершенствуются, список гипотез может быть только открытым) и имплицитно возникающим «кантианским» (четыре гипотезы — это четыре альтернативных способа понимания, раз и навсегда данных человеку), а то и «гегельянским» (путь человеческого духа — это путь от формизма к контекстуализму, а пророком контекстуализма является Стивен Пеппер) смыслом. Если говорить о соотношении «списка Пеппера» с историей философии, то очевидно, что пепперовская концепция, укрупняя наше видение истории западной мысли, в принципе расходится с историей индивидуальных философских систем 16. На таком же разрыве была основана лавджоевская «история идей», но у Лавджоя, в отличие от Пеппера, подобный подход был отрефлектирован и прямо сформулирован. Если же говорить об отдельных звеньях концепции Пеппера, то здесь исторически мыслящего читателя шокируют и пропуски, с которыми трудно смириться, и странные сбои в определениях. Самой вопиющей лакуной, конечно, является то, что в списке главных «гипотез о мироустройстве» отсутствует «арифметизм», или «математизм», — гипотеза, основанная на метафоре «все есть число» и победно утвердившаяся в ходе научной революции XVII века (так что по части «эвидентности» именно эта гипотеза является чемпионом). Что касается дефиниций, то нас не может не изумить определение, которое Пеппер дает базовой метафоре формизма: «коренной метафорой формизма является сходство». Это определение противоречит самому понятию метафоры, поскольку, согласно любым дефинициям, сходство лежит в основе метафоры как тропа и, следовательно, не может выступать как дифференциальный признак одной конкретной метафоры.

Истоки всех этих несообразностей достаточно ясны: все дело в исходной установке Пеппера на выделение автономных (то есть не пересекающихся друг с другом) и при этом высоко абстрактных (то есть обладающих максимальным экстенсионалом) гипотез / метафор. Чтобы избежать взаимоналожения гипотез, Пеппер решает проигнорировать «математизм» (который в глазах Пеппера пересекается с «формизмом»; можно было бы усмотреть и точки пересечения с «механицизмом»). Чтобы максимально расширить сферу применения каждой из гипотез, Пеппер объединяет под одним ярлыком (например, под ярлыком «формизм») и разные исторически конкретные метафоры (например, «метафору ремесленника» у Платона и «метафору развития природных объектов» у Аристотеля), и виртуальные конструкции здравого смысла: в результате «формизм» раздувается до беспредельности, что и выражается в столь странной дефиниции 17.

Критиковать концепцию Пеппера имеет смысл потому, что в своих исходных посылках эта концепция, как мы уже сказали, представляется нам совершенно правильной и чрезвычайно полезной для анализа гуманитарного знания. Необходимо только освободить ее от умозрительно-философского балласта и достроить до уровня, на котором она будет прямо соприкасаться с историческим материалом. Первый шаг к переработке модели Пеппера был сделан Эрлом Маккормаком, который предложил разграничить метафоры передающие и метафоры базовые. Это разграничение относится к функции метафор: «передающие метафоры предлагают обычно метафорическое прозрение ограниченного масштаба, тогда как базовые метафоры лежат в основе всей теории или научной дисциплины»18. Понятно, что в рамках одного текста или дискурса мы встречаемся со множеством разнородных метафор, и принципиально важно различать, какие из них являются просто передающими, а какая является базовой. Вскоре мы увидим, насколько эта дихотомия оказывается необходима при анализе конкретного случая. Однако удовольствоваться ею нельзя; концепция Пеппера требует более глубокой переработки. Вот к чему эта переработка должна, по нашему мнению, сводиться.

Полностью переработанная пепперовская модель могла бы иметь вид двухъярусной системы, на верхнем ярусе которой располагаются общие классы гипотез/метафор (это как раз тот ряд, который выстраивался Пеппером), а на нижнем ярусе — конкретные исторически данные метафоры. В отличие от пепперовской, такая модель будет учитывать два важнейших факта: 1) одна конкретная метафора может входить в несколько разных классов (например, аристотелевское «развитие живого организма» входит и в класс «формизм», и в класс «органицизм»); 2) всякий класс представлен существенно разными метафорами, порождающими совершенно раз-личные исследования и наррации (например, класс органицистских метафор в гуманитарных науках представлен столь разными концепциями, как «жизненный цикл организма», «эволюция вида»19, «генеалогическое древо», «семейное сходство» 20). В результате элементы второго яруса окажутся связаны с элементами первого яруса частично перекрещивающимися пучками отношений. При этом всякая метафора второго яруса может выступать либо в функции передающей, либо в функции базовой метафоры, в зависимости от конкретного текста или дискурса.

Настоящая статья может рассматриваться как материал к построению такой модели. Нас будет интересовать класс метафор, к которому Пеппер применил наименование «контекстуализм». Сам термин «контекстуализм» является нововведением Пеппера, и его значение и референция начисто лишены той очевидности, которая присуща терминам «механицизм» и «органицизм». Термин «контекстуализм» даже более темен, чем термин «формизм», также являющийся изобретением Пеппера. Проблема состоит в том, что сам по себе термин «контекст» отсылает к исходной метафоре «ткань» (лат. textum), не имеющей ничего общего с метафорами, которые в данном случае имеет в виду Пеппер.

Пеппер разъясняет содержание «контекстуалистской» метафорики следующим образом:

Чтобы привести примеры этой коренной метафоры, используя английский язык и сводя к минимуму риск быть неправильно понятым, нам бы следовало использовать только глаголы. [Контекстуалистская метафора] — это делание, и претерпевание, и смакование: это когда человек изготавливает лодку, участвует в скачке, реагирует смехом на шутку, разгадывает тайну, решает задачу, удаляет с пути препятствие, обследует территорию, общается с другом, создает стихотворение, воспроизводит стихотворение. Все эти акты или события внутренне сложны, они состоят из взаимосвязанных действий, рисунок которых постоянно меняется. Эти акты или события похожи на происшествия в сюжете романа или драмы. Они и есть жизненные происшествия [incidents of life] в буквальном смысле слова.

На взгляд контекстуалиста, все в жизни состоит из таких происшествий (Pepper 1942, p. 232—233).

Казалось бы, все просто: речь идет об уподоблении всякого явления человеческому поступку: все приводимые Пеппером примеры — это действия, совершаемые людьми и представляющие собой переход от одного состояния (начального) к другому (конечному). Девизом такой «гипотезы о мироустройстве» могли бы быть слова гётевского Фауста: «В начале было дело», а называться такая гипотеза должна, конечно же, «прагматизм», от греч. — pragma «дело, действие». «Прагматизмом» называет себя построенная на этих посылках философия, к которой как раз и примыкает Пеппер, — но Пепперу, видимо, важно избежать автоматического отождествления прагматической метафорики с американским прагматизмом как на-правлением. Дело в том, что мировоззрение Пеппера явно находилось в сильной зависимости от идей Бергсона, — и, вместо того чтобы быть лейтенантом в армии прагматистов, Пеппер фактически провозглашает себя командующим армией «контекстуалистов»21, в состав которой Бергсон оказывается зачислен наравне с Пирсом, Джемсом и Дьюи 22. Все изложение «контекстуалистского» мировоззрения у Пеппера окрашено в сильнейшие бергсонианские тона.

Но не мировоззрение Пеппера нас сейчас интересует. Нас интересуют те конкретные метафоры в дискурсе гуманитарного знания, которые относятся к классу «прагматических» метафор, — и те концепции, которые могут порождаться и / или оформляться этими метафорами. Об одной из таких «прагматических» метафор и пойдет речь.

**3. Метафора стрелочника и метафора пассажира**

В 1916 году в 41-м томе журнала «Архив социальной науки и социальной политики», выходившего под совместной редакцией Макса Вебера, Вернера Зомбарта и Эдгара Яффе, были напечатаны первые главы веберовского цикла очерков «Хозяйственная этика мировых религий». Цикл открывался «Введением», излагавшим общие принципы веберовского подхода к истории религий. В этом «Введении» содержался пассаж, ставший впоследствии одним из наиболее часто цитируемых высказываний Вебера:

Interessen (materielle und ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die «Weltbilder», welche durch «Ideen» geschaf-fen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahner bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegt (Weber 1989, S. 101).

[Над человеческим действием непосредственно господствуют интересы (материальные и идеальные), а не идеи. Однако «картины мира», создаваемые «идеями», очень часто выполняли роль стрелочников, определяющих тот путь, по которому динамика интересов тянет вперед человеческое действие] 23.

Итак, для прояснения своей концепции человеческого действия 24 Вебер представляет нашим глазам обыденную сцену железнодорожного движения. Актеры и антураж этой сцены всем хорошо известны из жизни (вместе они образуют общеупотребительный «скрипт» или «фрейм» — иначе говоря, стереотип восприятия ситуации). Декорация: железно-дорожные пути со стрелками. Действующие фигуры: 1) Локомотив; 2) Вагоны; 3) Стрелочник. В роли Локомотива выступают Интересы (по-другому их можно было бы назвать Желания или Влечения — ведь речь идет об источнике динамики, о силе, тянущей куда-то человека 25; притом Вебер говорит об интересах как материальных, так и идеальных). В роли Вагонов выступают Действия (по-другому их можно было бы назвать Поступки — это второй возможный перевод немецкого Handeln). Наконец, в роли Стрелочника выступает Картина Мира. Локомотив в любом случае мчит вагоны вперед, но в каком направлении будет мчаться поезд и куда он приедет — зависит от Стрелочника.

Эта аллегорическая сцена потому неизменно находится в центре внимания толкователей Вебера, что она заключает в себе суть веберовского понимания движущих сил истории и наглядно демонстрирует разницу между веберовским пониманием и историческим материализмом Маркса — Энгельса 26. В этой связи представляется совершенно неслучайной перекличка этой сцены с аллегорическим изображением революций как «локомотивов истории» у Маркса.

Существует хорошо известное расхождение между филологическим и герменевтическим подходом к любым межтекстовым параллелям. Для филолога важнее всего документировать генезис параллели; для герменевта важнее всего смысл, который можно извлечь из сопоставления двух текстов, независимо от любых генетических связей. Возможна, однако, позиция исследователя, которому интересно и то, и другое и которому кажутся односторонними и филолог-экстремал, и герменевт-экстремал. Поскольку нас интересует весь Вебер, постольку нас интересует и генезис его метафор, и их смысл (при том, что в принципе это два расходящихся вопроса).

Вебер, конечно же, знал афоризм Маркса, и, скорее всего, знал по первоисточнику, работе Маркса «Классовая борьба во Франции». Он вполне мог прочитать этот цикл статей еще в годы университетской учебы. Но почти наверняка он должен был обратиться или вернуться памятью к этому тексту весной 1895 года, когда 75-летний Энгельс опубликовал в штутгартском журнале «Die Neue Zeit» свою последнюю программную работу — «Введение к “Классовой борьбе во Франции”» (сразу вслед за этим, в апреле 1895 года, работа Маркса вместе с «Введением» Энгельса вышла отдельной книгой). Энгельс начинал это свое введение с рассмотрения важнейшей и трудно решаемой методологической проблемы: проблемы историко-социологического анализа текущих событий. Подчеркнув препятствия, неизбежно стоящие на пути всякого подобного исследования, Энгельс утверждал, что первый успешный опыт такого исследования был дан Марксом именно в «Классовой борьбе во Франции» — цикле, как сказали бы мы сегодня, экспресс-анализов французской политической жизни 1848—1850 годов. По-явление текста Энгельса стало крупнейшим событием в жизни немецких социал-демократов: после смерти Энгельса в августе того же года «Введение к “Классовой борьбе во Франции”» стало именоваться «политическим завещанием» основоположника: опираясь на этот текст, Эдуард Бернштейн потребовал пересмотра политической программы марксизма.

Когда «Введение» Энгельса появилось в печати, Веберу исполнялся 31 год. Это был первый год профессорской карьеры Макса Вебера, и завершался он для Вебера инаугурационной лекцией, которую свежеиспеченный профессор должен был, согласно установленному порядку, прочитать перед широкой публикой. Лекцию эту Вебер прочитал во Фрейбургском университете в мае 1895 года; она была озаглавлена «Национальное государство и народнохозяйственная политика». К содержанию этой лекции, произведшей глубокое впечатление на слушателей, мы еще вернемся; пока же отметим, что в этом тексте Вебер суммировал и обобщал результаты работы, написанной еще за два года до этого и принесшей Веберу известность в профессиональном кругу экономистов. Речь идет об огромном (около 900 страниц) социологическом исследовании, которое Вебер выполнил по заказу Союза социальной политики (Verein für Sozialpolitik): «Отношения сельскохозяйственных рабочих на германских территориях к востоку от Эльбы» (1892). Именно этот труд (первое большое сочинение Вебера после двух его диссертаций) составил репутацию Вебера как специалиста по аграрным вопросам и определил сферу его занятий на ближайшие годы. Сейчас нам важно отметить две детали: 1) этот труд был социологическим исследованием текущих событий, и 2) он был посвящен социальной психологии батраков. Между тем, именно о крестьянской психологии идет речь в том пассаже из «Классовой борьбы во Франции», где появляется метафора локомотива:

И чаши весов падают или поднимаются в зависимости от голосов, которые крестьянин бросает в избирательную урну. Он сам должен решать свою судьбу. — Так говорили социалисты в памфлетах, в альманахах, в календарях, во всевозможных листовках. Эти идеи стали еще понятнее крестьянину благодаря полемическим сочинениям партии порядка; она тоже обращалась к нему и своими грубыми преувеличениями, своим бессовестным искажением социалистических идей и стремлений как раз попадала в настоящий крестьянский тон и разжигала жадность крестьянина к запретному плоду. Но понятнее всего говорил самый опыт, приобретенный классом крестьян при использовании избирательного права, говорили те разочарования, которые одно за другим обрушивались на него в стремительном развитии революции. Революции — локомотивы истории (Маркс 1956, с. 86; курсив автора).

Как видно из контекста, исходный смысл метафоры далеко не сводится к рутинизированному ее пониманию: «революции движут историю вперед». Маркс говорит о том, что у людей, находящихся внутри революционного потока событий, происходит колоссальное изменение жизненного опыта, который начинает накапливаться с невиданной прежде скоростью. Опыт людей, переживающих революцию, Маркс уподобляет опыту пассажиров, которых мчит вперед локомотив.

Метафора Маркса должна быть понята в контексте культуры 1840-х годов, когда вступал в завершающую стадию процесс массовой адаптации европейцев к опыту железнодорожных путешествий. Как показал в своем основополагающем исследовании Вольфганг Шивельбуш (Schivelbusch 1986), процесс такой адаптации был двухфазовым и во всех странах требовал жизненного опыта двух поколений (в Англии этот процесс стартовал в 1820-х годах, в других странах он развивался с соответствующим хронологическим сдвигом, в зависимости от времени появления железных дорог). Первое железнодорожное поколение пересело в поезд из экипажей, к которым успело привыкнуть за свою жизнь. Переход от гужевого транспорта к машинному был для этого поколения ошеломляющим перцептивным шоком. Шок неизменно вел, с одной стороны, к резкому остранению и ностальгической романтизации всех аспектов традиционного путешествия в экипаже, а с другой стороны — к очень острому ощущению небывалости железнодорожного путешествия. Это ощущение небывалости было у пер-вого поколения железнодорожных пассажиров часто окрашено в ощутимо зловещие, чтобы не сказать апокалиптические, тона. Первое поколение пассажиров постоянно описывало опыт железнодорожного путешествия через одну и ту же стереотипную схему: «уничтожение времени и пространства»27. На смену времени путешествия в экипаже — времени медленному, насыщенному внимательным созерцанием постепенно меняющихся пейзажей, ритмически зависящему от усилий живого организма лошади, — пришло быстрое, механически однородное, пустое время путешествия в поезде, лишенное привычных путешественнику впечатлений от окружающего ландшафта, поскольку ландшафт пролетал мимо с неимоверной скоростью 28. На смену большому миру труднопреодолимых расстояний пришел сжавшийся и однородный мир равнодоступных территорий. При этом сама гладкость, незатрудненность движения поезда очень часто ассоциировалась у первого поколения пассажиров с ощущением подспудной опасности 29.

Как пример насыщения этих стереотипов символическим содержанием мы приведем рассуждение, почти синхронное метафоре Маркса и почти наверняка Марксу знакомое. Это 57-й очерк Генриха Гейне из цикла «Лютеция», датированный 5 мая 1843 года. Гейне пишет:

Открытие двух новых железных дорог — Орлеанской и Парижской — вызывает здесь волнение, которое испытывает всякий, если только он не живет в социальном изоляторе. В эту минуту все население Парижа как бы составляет одну цепь, где один сообщает другому электрический удар. Но в то время как толпа, смущенная и ошеломленная, смотрит на внешнее проявление великих движущих сил, мыслителем овладевает зловещий ужас, испытываемый всегда, когда совершается самое невероятное, самое неслыханное, а последствий нельзя ни предвидеть, ни рассчитать. <…> Железные дороги — тоже такое провиденциальное событие [как открытие Америки, изобретение пороха и книгопечатания], оно дает человечеству новое устройство, оно меняет окраску и формы жизни; начинается новый период всемирной истории, и наше поколение может похвалиться тем, что присутствовало при этом. Какие перемены должны теперь наступить в наших воззрениях и наших представлениях! Поколебались даже основные понятия о времени и пространстве. Железные дороги убивают пространство, и теперь нам остается только время. Если бы у нас было достаточно денег, чтобы пристойным образом убивать и время! В четыре с половиной часа доезжаешь теперь до Орлеана, за столько же часов — до Руана. А что будет, когда закончится постройка линий, ведущих в Бельгию и в Германию, и когда они будут соединены с тамошними дорогами! Мне чудится, будто горы и леса всех стран придвинулись к Парижу. Уже я слышу запах немецких лип, у моих дверей шумит Северное море (Гейне 1958, с. 218—219).

Когда Гейне писал это, ему было 46 лет. Маркс был моложе Гейне на 21 год: когда в 1835 году была построена первая германская железная дорога Нюрнберг — Фюрт, Марксу было 17 лет. Разница в отношении Гейне и Маркса к железной дороге — это разница между первым и вторым поколением железнодорожных пассажиров из культурного сословия 30. Второе поколение привыкало к поезду с детства или с юности, оно с ходу усваивало только-только возникавшие стереотипы поведения и распределения внимания, с помощью которых образованные европейцы постепенно обживали изнутри время и пространство железнодорожного путешествия (молчание, обязательное чтение, «панорамное» восприятие заоконного пространства 31). В итоге второе поколение формировало совершенно иной, спокойный и оптимистически-утилитарный подход к железнодорожной поездке как к быстрому процессу достижения конечной цели: при этом сам процесс путешествия переходил в фон сознания; путешествие лишалось внутреннего содержания и самостоятельной ценности 32 .

Метафора «революции — локомотивы истории» должна быть прочтена как аббревиатура именно такого жизнеощущения. Новый опыт, который дает крестьянам революция, не может быть уподоблен опыту пребывания в движущемся железнодорожном вагоне: само по себе такое пребывание не дает человеку ничего, кроме усталости 33. Новый опыт, который революция в небывалом темпе и небывалых дозах доставляет крестьянам, или, точнее, к которому она доставляет крестьян, — это те новые места, в которые локомотив доставляет пассажиров; это отдаленные города и страны, в которых человек никогда не был и которых никогда бы не повидал в та-ком количестве, если бы не появились железные дороги. Как средства машинного транспорта вырывают любой уголок земли из провинциальной спячки и вовлекают его в общую систему товарного производства, так и революции вырывают любую социальную группу из состояния спячки, вовлекают ее в политический процесс, приводят к утрате иллюзий и к осознанию своих подлинных классовых интересов.

Позитивно-утилитарное осмысление железнодорожного путешествия у Маркса отличается от амбивалентно-романтической трактовки, присущей ранним описаниям железнодорожных путешествий. Однако за всеми этими различиями важно не упустить базового общего принципа, который объединяет железнодорожную аллегорию Маркса и с вышеназванными описаниями, и вообще с любыми отчетами о железнодорожных путешествиях. Этот общий принцип состоит в том, что железная дорога описывается с точки зрения пассажира. Сжавшееся пространство и ускорившееся время — все это признаки, которые изначально относятся именно к внутреннему опыту пассажира. И в этом — отличие железнодорожной сцены у Маркса от железнодорожной сцены у Вебера. Если в центре метафоры Маркса находится пассажир, то в центре метафоры Вебера находится стрелочник. Железная дорога у Маркса — это движущийся поезд, увиденный изнутри. Железная дорога у Вебера — это железнодорожное полотно, увиденное извне — с платформы, с моста, с откоса.

**4. Биографический контекст**

Детство Макса Вебера прошло у железной дороги.

Вебер родился в 1864 году в Эрфурте, где его отец, Макс Вебер-старший (1836—1897), служил с 1862 года в должности муниципального советника. С самого начала службы в Эрфурте у молодого муниципального советника завязались тесные отношения с дирекцией Тюрингского железнодорожного общества — частной компании, ведавшей тюрингскими железными дорогами 34. Связь с железнодорожной компанией сразу же проявилась в том, что квартиру муниципальный советник Вебер снял в доме, принадлежавшем директору (Betriebsdirektor) Тюрингского железнодорожного общества, королевскому советнику по делам строительства Ф.А. Монсу: по сути дела, железная дорога предоставила семейству Вебера кров. Жена Монса стала другом семейства и крестной матерью Альфреда, младшего сына Веберов, родившегося в 1868 году. В 1914 году, когда Елене Вебер, матери Макса и Альфреда, исполнится 70 лет, Макс отправит ей длинное и проникновенное письмо, в котором будет перебирать воспоминания прошлого:

Мне кажется почти невероятным, что пролетело уже почти полвека со времени моих первых эрфуртских воспоминаний. Воспоминания эти — о тебе. Помнишь ли ты то время, когда, разглядывая эстамп с изображением Сикстинской Мадонны (тогда это был «элемент роскоши» в нашей маленькой квартире), я всегда узнавал в Мадонне тебя, себя же считал (с характерной нескромностью) младенцем Иисусом у тебя на руках, а роль ангелов отводил моим братьям. Это было время, когда тетя Монс, покойный ж.-д. директор, «Софихен» и семейство Тиде 35 были вообще единственными людьми, которые для меня имелись в мире, кроме родителей […] (цит. по: Marianne Weber 1926, S. 511).

Судя по этому письму, директор железной дороги и его жена были для маленького Макса Вебера главными людьми в мире после родителей (можно предположить, что в письме к матери Вебер перечисляет этих людей в порядке их значимости для самого себя).

В мире, где уже существуют вокзалы и поезда, но еще нет автомобилей, железная дорога неизбежно занимает центральное место в детских играх. Маленький Макс Вебер не был исключением. Его бабушка по материнской линии Эмилия Фалленштейн так описывала в одном из своих писем характерное времяпрепровождение внука, когда тому было два с половиной года:

Играет он по большей части в одиночестве, но я еще никогда не видела, чтобы какой-либо ребенок умел так создать себе общество из игрушек или, чаще всего, из остатков от игрушек: это катушки от ниток, кусочки дерева и прочие всевозможные мелочи. Сегодня утром, к примеру, он сперва построил из своих кубиков вокзал и соорудил рядом с ним поезд из маленьких вагончиков с разными товарами и пассажирами; над паровозом он укрепил длинную полоску бумаги, широкую сверху и сужающуюся книзу: эта полоска изображала пар, — после чего он стал восхищаться этим длинным и пышным паром, требуя и от нас, чтобы мы выразили свое изумление. Позднее кубики, подставка для ног и несколько бумажных полосок превратились в солеварню, над которой развевалось множество флагов. Все это — его собственные изобретения, и все это окрашено воспоминаниями о Пирмонте 36. Так он играет часами, непрерывно при этом болтая сам с собой (цит. по: Marianne Weber 1926, S. 33—34).

Разумеется, игра в железную дорогу сама по себе мало что говорит об индивидуальном детском опыте Макса Вебера; всякая игра так или иначе отражает жизненный опыт ребенка, а железные дороги были непременной частью опыта едва ли не всех городских детей. Но жизнь семьи Веберов была особенно тесно связана с железной дорогой.

Дом Монса, в котором жили Веберы, стоял в переулке Картгейзер-Штег, который фактически примыкал к городскому вокзалу (для директора железной дороги было вполне естественно иметь дом в непосредственной близи от железной дороги) 37. Поэтому все прогулки маленького Макса протекали рядом с железной дорогой. Марианна Вебер так комментирует в своей книге письмо бабушки Эмилии:

Гуляя, маленькому Максу часто приходится перебираться через железную дорогу по эстакаде, сооруженной над путями. Когда он стоит на эстакаде, его часто окутывает таинственный белый пар, идущий от паровозов, совершающих внизу свои маневры. Игра в железную дорогу будет долго его занимать (цит. по: Marianne Weber 1926, S. 34).

Понятно, почему игра в железнодорожную дорогу приобретала для Вебера-ребенка дополнительную притягательность: она позволяла ему вновь и вновь воспроизводить поразительное переживание: созерцание железной дороги сверху. Как взгляд стоявшего на мосту Макса Вебера господствовал над реальным пространством железной дороги, точно так же Макс Вебер господствует дома над игрушечной железной дорогой, которую сам сооружает. В этом смысле мы можем сказать, что детство Вебера прошло не просто у железной дороги, но над железной дорогой.

Взгляд ребенка с эстакады вниз на железнодорожное полотно — вот один из главных источников железнодорожной метафоры Вебера. Но рисунок железнодорожных путей, который ты видишь сверху, — это чистая форма, гештальт, который еще нужно связать с определенным комплексом значений, с особым эмоциональным и мыслительным содержанием. Это связывание произошло, когда Веберу было четыре года.

Маленький Макс приехал с матерью в Бельгию. Неподалеку от города Вервье они увидели железнодорожную катастрофу: сошедший с рельсов поезд лежал в кювете. Эта картина произвела на Вебера огромное впечатление. Впоследствии, вновь оказавшись в Бельгии, Вебер написал жене об этой своей детской травме:

Bei Verviers erinnerte ich mich der ersten «erschütternden» Ereignisses mei-nes Lebens: der Zugentgleisung vor nun 35 Jahren. Das Erschütternde dabei war mir nicht alles das war vorging, sondern der Anblick eines dem Kinde so erhabenen Wesens wie eine Lokomotive wie ein Betrunkener im Graben liegend — die erste Erfahrung von der Vergänglichkeit des Grossen und Schönen dieser Erde (цит. по: Marianne Weber 1926, S. 34).

[Проезжая мимо Вервье, я вспомнил первое потрясение в своей жизни: крушение поезда тридцать пять лет тому назад. Потрясло меня при этом не все случившееся, но зрелище того возвышенного существа, которым является в глазах ребенка паровоз и которое лежало передо мной в канаве наподобие пьяного. Я впервые тогда увидел, насколько бренно все великое и прекрасное на этой земле.]

Эта цитата из письма Вебера известна нам по книге Марианны Вебер. Здесь перед сегодняшним интерпретатором, если он наделен склонностью к философской рефлексии и обучен «герменевтике подозрения», открывается некоторый простор для спекуляций. Можно ли опираться на эту цитату как на достоверное свидетельство о детском переживании Вебера, если все, что нам дано, — это позднейшая и в высшей степени рефлексивная автоинтерпретация самого Вебера, использованная к тому же его женой для построения ее собственной наррации о Вебере? Понятно, что агиографическая концепция жизни Макса Вебера, тщательно выстраиваемая Марианной Вебер, основана на жестком отборе фактов и на умолчании о целом ряде аспектов, которые по тем или иным причинам Марианна Вебер хотела оставить в тени 38; очевидно, с другой стороны, и то, что Вебер в этом письме 1903 года описывает свое детское переживание весьма близко к новомодным психоаналитическим схемам. Вебер говорит о детском психическом «потрясении», более того — о первичном «потрясении», то есть повторяет если не слова, то концептуальные ходы Фрейда, однако переносит их на совершенно инородный психоанализу внесексуальный материал; не означает ли это демонстративное применение психоаналитических схем ко внесексуальному материалу, что здесь мы имеем дело с элементарным вытеснением, со стремлением перенести свое сознательное внимание и внимание окружающего мира на «нестыдную» внесексуальную (или внесемейную) травму, которая в действительности призвана заместить собой истинную травму; или, в более современном духе, можно задаться вопросом о том, не является ли «дискурс травмы» апостериорным конструированием травмы как некоего алиби; не призван ли «дискурс травмы» символически компенсировать ту единственную изначальную травму, которая состоит в отсутствии всякой травмы, подобно тому как «миф об истоке» и «миф об основании» призваны скрывать ту единственную истину, которая состоит в отсутствии истока и основания? Конструировать подобные рассуждения можно, при желании, и дальше сколь угодно долго. При оценке дискурсивных построений такого рода необходимо, с нашей точки зрения, одинаково ясно осознавать два момента: 1) как правило, «герменевтика подозрения» отправляется от действительно проблематичных зон интерпретации текста; 2) как правило, «герменевтика подозрения» завершается выходом в дурную бесконечность, в неразрешимые апории восприятия и в зеркальные конструкции типа «mise en abîme». Суть всякой интерпретации состоит в выборе определенного смысла; но, прежде чем выбирать тот или другой из ограниченных смыслов как «более глубокий», «более верный», «более важный», «более интересный», интерпретатор всегда должен сделать более фундаментальный выбор — между смыслом ограниченным (устойчивым) и смыслом безграничным (неустойчивым), который по логике «совпадения противоположностей» часто смыкается со смыслом самым произвольным, самым случайным. Что до нас, то мы делаем выбор в пользу ограниченного (устойчивого) смысла; один из таких ограниченных смыслов наследия Вебера (тот, который представляется нам «наиболее интересным») мы и пытаемся реконструировать.

Мы полагаем, что донесенные до нас Марианной Вебер слова Макса Вебера о его детском впечатлении от паровоза, сошедшего с рельсов, адекватно отражают ту реальность сознания, которая выразилась в научном творчестве Вебера, в его выступлениях на социально-политические темы, в его общении с близкими. Мы будем исходить из допущения, что для понимания общей смысловой направленности творчества Вебера увиденное им в детстве крушение поезда не менее значимо, чем любые травмы на семейной и эротической почве — которые, несомненно, имели место 39.

Покуда речь шла всего лишь об однократно использованной Вебером (хотя бы и при изложении центрального пункта его концепции) метафоре стрелочника, можно было считать, что эта метафора является вспомогательной, «передающей». Можно счесть вспомогательным и любое другое изолированно взятое железнодорожное сравнение, появляющееся в веберовском тексте; в любом случае, подобных эксплицитных сравнений мы найдем немного 40. Можно не обратить особого внимания и на другие при-меры и сравнения, отсылающие к сфере транспортных средств. Однако картина меняется, когда мы принимаем во внимание веберовский рассказ о крушении поезда. В свете этого рассказа все творчество Вебера обнаруживает свой латентный метафорический смысл; крушение поезда оказывается центром скрытой базовой метафорики, определяющей основные концептуальные построения Вебера-историка, методолога и политического мыслителя. Именно это мы сейчас постараемся показать.

**5. Фатум и фюрерство (политика как призвание)**

Как должна выглядеть картина мира, порождаемая железнодорожной метафорой? Весь мир — железная дорога, а мы — пассажиры, машинисты и стрелочники на этой дороге. Историческое явление любого масштаба уподобляется идущему поезду: человечество — идущий поезд, страна — идущий поезд, отдельный человек — идущий поезд. Если мы рассматриваем некий факт, сознание немедленно задает себе вопрос: к движению какого поезда относится этот факт? А затем — следующий вопрос: что означает данный факт для движения данного поезда?

Однако мы имеем дело не просто с железнодорожной метафорой, а с та-кой железнодорожной метафорой, в центре которой стоит идея катастрофы. Катастрофа грозит любому идущему поезду; всякое движение может закончиться страшным и постыдным крушением; умный и красивый паровоз, в создание которого было вложено столько труда, будет валяться в канаве, как пьяный; люди не доедут до городов и курортов, а будут мучаться и умирать у какой-то безвестной деревни, и никто не может заранее предсказать, где и когда это случится. Катастрофа может наступить в любой момент: может сломаться ось у паровоза, и он сойдет с рельсов 41; машинист может задремать и не заметить опасного предмета на пути; он может неправильно рассчитать скорость и не вписаться в поворот; стрелочник может ошибиться и, неправильно переведя стрелку, направить два поезда навстречу друг другу 42. В запланированное, целенаправленное движение поезда в любую минуту может вмешаться судьба.

Так выглядит, по Веберу, всякое историческое развитие: движение поезда в определенном направлении, но с непредсказуемым результатом. Вебер никогда не мыслит исторические процессы в чисто органицистских терминах, как это было свойственно большинству историков XIX века. Термин «развитие» и прочие органицистские термины применяются у Вебера к описанию отдельных участков исторического движения, лежащих между двумя точками бифуркации. Но в целом метафорика исторических трудов Вебера — пространственно-кинетическая: движение, направление, исходный пункт/момент, конечный пункт/момент, поворотный пункт/момент, отрезок пути, цель. И надо всем этим движением исторических поездов господствует неумолимый и страшный Рок. «Не подлежит сомнению, что человек, обозревающий какой-либо отрезок того бесконечного движения, которому подвластны судьбы людей, ощущает оглушительные удары рока»43.

Чтобы обозревать отрезки движения, нужно самому стоять над железнодорожным полотном. Но вся серьезность человеческой ситуации состоит в том, что каждый из нас от рождения находится в мчащемся поезде. Вебера не интересует одноместный экипаж нашего личного существования: его судьбой можно пренебречь 44. Зато невозможно пренебречь судьбой того большого пассажирского поезда, в котором ты находишься рядом с другими людьми 45: для Вебера это был поезд «Германия». Самая неотложная цель — спасти от катастрофы этот поезд, идущий здесь и сейчас; обеспечить его благополучное прибытие на конечную станцию. Конечная станция расположена в отдаленном будущем, мы не знаем ее точного местонахождения, и тем не менее все наши мысли — о ней. Чей поезд дойдет до конечной станции — наш или чей-то чужой? «Не то, как люди грядущего будут себя чувствовать, но то, как они вообще будут, — вот вопрос, который в наших размышлениях влечет нас в ту эпоху, когда наше поколение сойдет в могилу <…> если бы мы были в состоянии спустя несколько тысячелетий подняться из могилы, перед лицом будущих поколений мы занялись бы поисками отдаленных следов нашей собственной сущности <…> Не мир и человеческое счастье мы обязаны передать нашим потомкам в путь, а вечную борьбу за сохранение и взращивание нашей национальной породы» 46.

На мысль о возможной катастрофе человек может реагировать либо внутренней мобилизацией, либо, наоборот, демобилизацией, более или менее успешной попыткой забыть о грозящем исходе, сосредоточиться на чем-то другом. Пир во время чумы — широко распространенный тип ре-акции на потенциально или актуально катастрофические обстоятельства. Необходимая предпосылка пира во время чумы — фатализм, осознание собственного бессилия перед судьбой. Такой фатализм Вебер проявлял по отношению к собственной судьбе, но по отношению к судьбе страны он был одержим неотступной заботой, непрестанным мысленным предвосхищением катастрофы. Это прямая противоположность фатализму — тотальный алармизм, сигнал тревоги, автоматически вызывающий тотальную мобилизацию человека. Вебер всегда ощущал эту свою мобилизованность, то есть призванность к спасению страны, к участию в практической политике. Если ты чувствуешь, что способен видеть путь лучше машиниста, который сейчас сидит в кабине, — ты обязан прорваться в кабину, взять управление на себя. Мысль о собственном практическом (юридическом, а в конечном счете — политическом) призвании будет преследовать Вебера всю жизнь. «Мною владеет исключительное желание практической деятельности»; «Проблема в том, что я не настоящий ученый; для меня научная работа слишком тесно связана с идеей досужего времяпрепровождения, хотя я вполне осознаю, что в силу существующего разделения труда успешные занятия научной работой требуют от человека тотальной самоотдачи»47. Все это молодой Вебер пишет в годы своих первых громких академических успехов. Марианна Вебер так комментирует эти заявления: «Для него познание реальности, мысленное овладение реальностью не могут быть ничем иным, кроме как первым шагом к непосредственному воздействию на реальность, ибо он кажется рожденным для борьбы и господства в еще большей степени, чем для мысли»48. Для борьбы, для господства — или для чего-то еще? Во втором абзаце своего доклада «Политика как призвание и профессия» Вебер сформулировал сущность практической политики, как он ее понимал: «Это понятие [политики] имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству [leitender Tätigkeit; выделено автором]»49. Здесь и непосредственно далее Вебер, говоря о руководстве, употребляет слово Leitung; но еще перед этим, в первом абзаце, он ставит вопрос о «значении политической деятельности во всем ведении жизни [Lebensführung]». Führung — руководство, вождение, водительство — вот конечный смысл той практической деятельности, к которой стремился Вебер. Слово Führer появляется в восьмом абзаце доклада и уже не исчезает до самого конца текста. Быть фюрером значит быть тем машинистом, которому вверена судьба поезда: первое значение слова Führer — «вождь»; второе — «вагоновожатый, водитель, машинист». Индивидуальный жизненный опыт Вебера резонировал с метафорикой немецкого языка. Сам язык сближал политику с железной дорогой; находясь в этом семантическом поле, понятие фюрерства могло играть разными гранями, обретать новые ассоциативные связи — например: «Становится все более явным, что Бисмарку довольно успешно удалось уничтожить всех по-настоящему независимых и ярких политических сотрудников и возможных преемников либо же оттеснить их на совершенно боковые пути»50: здесь машинист то ли толкает свой поезд назад, то ли теснит другие поезда. При этом в докладе «Политика как призвание и профессия» транспортно-технические коннотации слова Führer еще более усиливаются от того, что, перейдя к анализу современных форм политической организации на примере английской и американской демократии, Вебер постоянно говорит о партийном аппарате как о «машине» и с этого момента вплоть до завершения доклада будет употреблять слово Führer в постоянной связке со словом Maschine: «Вождем становится лишь тот, в том числе и через голову парламента, кому подчиняется машина. Иными словами, создание таких машин означает наступление плебисцитарной демократии»51. «Der Führer mit Maschine» — «машинист с машиной» — вот схема, предлагаемая Вебером в качестве единственной альтернативы бюрократическому загниванию политики. Таким образом, в знаменитой идее «плебисцитарно-вождистской демократии», которую Вебер — к несчастью Германии и всего мира — постарался заложить в основы Веймарской конституции 52, вполне можно разглядеть все ту же базовую железнодорожную метафору.

По словам Вебера, решающими для политика являются три качества: страсть, чувство ответственности, глазомер. Страсть — тотальная самоотдача существу дела, тотальная сосредоточенность на деле. Ответственность Вебер расшифровывает как «ответственность перед делом»; но мы видели, что эта ответственность перед делом должна пониматься как ответственность перед будущим, ответственность за благополучный исход дела, то есть за благополучный приход поезда к конечной станции 53. Страсть и ответственность характеризуют отношение к делу; главным же техническим качеством (или, как говорит Вебер, «решающим психологическим качеством») политика оказывается глазомер (Augenmaß). Глазомер — это «способность с внутренней собранностью и спокойствием поддаться воздействию реальностей, иными словами, [это] дистанция по отношению к вещам и людям»54. Достаточно представить себе политика как машиниста, и мы с яркой конкретностью начинаем понимать, что такое глазомер: способность машиниста учесть все объекты, находящиеся перед ним в поле обзора, а затем точно соотнести взаимное местоположение и скорость движения этих объектов с местоположением и скоростью движения поезда. Именно глазомер машиниста должен помочь избежать столкновения, благополучно миновать опасный участок движения. Главное здесь — хладнокровие, способность учитывать все факторы, не поддаваясь влиянию какого-то одного из них, не впадая ни в эйфорию, ни в панику. Бездарный политик лишен глазомера. Cамым ненавистным воплощением бездарности в политике стал для Вебера, как известно, Вильгельм II — и вот что Вебер пишет о еще молодом кайзере в письме к Герману Баумгартену от 31 декабря 1889 года: «Этот буланжистски-бонапартистский тип поведения в конечном счете нежелателен. Впечатление, будто мчишься в высокоскоростном поезде, но сомневаешься, правильно ли будет переведена следующая стрелка» 55.

По тому, с каким чувством интимной причастности Вебер говорит о политической деятельности и о необходимых качествах политика, мы догадываемся, что в себе он ощущает несомненное присутствие всех этих качеств. И тем не менее произнесенный в 1918 году доклад «Политика как призвание и профессия» — это доклад политика, не ставшего политиком 56. Материальные обстоятельства заставили Вебера в 1890-х годах выбрать для себя иной профессиональный путь — академический: для молодого Вебера главным было как можно быстрее распроститься со статусом иждивенца, а профессорская карьера позволяла ему быстрее обрести полноценный заработок, чем карьера юридическая 57. (Наверняка Вебер осмысливал и этот момент своей биографии как роковую железнодорожную развилку, роковой перевод железнодорожной стрелки.) Однако, помимо решающих внешних обстоятельств, важно обратить внимание на изначальную внутреннюю тупиковость железнодорожно-катастрофического отношения к политике: такое отношение и взывает к практической активности, и мешает ей с того момента, как эта активность начинает осуществляться. Тупик возникает из сочетания априорного катастрофизма (всякая ситуация мыслится как грозящая в перспективе катастрофой) с принципиально неопределимой протяженностью будущего, когда речь идет не о будущем индивидуального человека, а о будущем страны. Когда Вебер говорит об «ответственной» политике, он имеет в виду дальновидность, предвидение грозящих опасностей и способность заранее выбрать путь, позволяющий обогнуть или преодолеть все опасности и благополучно дойти до конечной станции. Все дело, однако, в том, что мы не знаем, где именно располагается в будущем тот последний вокзал, к которому должен прибыть поезд «Германия» (напомним, что в своей инаугурационной лекции, которую мы цитировали выше, Вебер хочет заглянуть в будущее на дистанцию не более и не менее как в несколько тысячелетий); у этого последнего вокзала нет точной локализации — а раз так, то невозможно заранее проложить на карте маршрут движения, который позволит поезду благополучно дойти из пункта A в пункт В 58. Никакого пункта B у нас нет, дорога ветвится и ветвится до бесконечности, и мы не можем заранее просчитать, на какой ветке и после какой развилки нас ждет верная катастрофа: мы узнаем о катастрофе, лишь когда она уже приближается. Чтобы ответственно управлять поездом в такой ситуации, требовалось бы то «среднее знание» («scientia media»), которое присуще Богу в доктрине молинистов: знание о будущих событиях, которые произойдут после того или иного выбора, делаемого человеком. Железнодорожно-катастрофическое жизнеощущение обрекает человека на безнадежные попытки приблизиться к этой божественной дальновидности: при каждом новом повороте поезда человек пытается предугадать катастрофу, к которой в ближайшем или отдаленном будущем может привести данный поворот. В сущности, это тот же синдром, который описан в известной сказке о жене, оплакивающей участь еще не родившегося ребенка. Именно это происходило с Вебером, когда его в тех или иных формах привлекали к обсуждению политических вопросов: «двойственность связывала Вебера всякий раз, когда заходила речь об однозначном решении вопроса в той или иной политической ситуации: всякий сегодня найденный выход представал перед ним как завтрашний тупик» 59.

**6. Каузальность, мотивация, идеальный тип (наука как призвание)**

Итак, если даже Вебер и был призван к политике, он не стал политиком. И, если даже — по его собственным словам — он не был настоящим ученым, он стал ученым. Сознание, мыслящее мир как пространство железнодорожных катастроф, оказалось вынуждено отказаться от практических действий; оно было приговорено к чистому созерцанию. Оно было вынуждено отвернуться от будущего и сосредоточиться на прошлом.

Что же такое прошлое? Это не библиотека, не генеалогическое древо и не колодец памяти. Прошлое — это сетка путей, уходящих назад за горизонт. Один из этих путей привел наш поезд к той точке, в которой он, поезд, находится здесь и сейчас. И, если будущее движение поезда ускользает от нашего контроля, мы можем, по крайней мере, думать о прошлом движении. Чтобы думать о прошлом движении, требуется радикальная переориентация сознания: необходимо забыть, что здесь и сейчас ты сидишь вместе с остальными пассажирами в вагоне, несущемся вперед, к возможной катастрофе; надо отрешиться от этой мысли и от всех эмоций, с этой мыслью связанных; надо забыть о фюрерстве и о сохранении национальной породы; надо снова занять позицию зрителя, позицию над железнодорожным полотном 60. Изучать прошлое — значит изучать маршрут, пройденный поездом: от какого вокзала он вышел вместе с другими поездами, у какой станции к нему были прицеплены дополнительные вагоны, в каких точках его путь поэтапно расходился с путями других поездов. «Современный человек, дитя европейской культуры, неизбежно и с полным основанием рассматривает универсально-исторические проблемы с вполне определенной точки зрения. Его интересует прежде всего следующий вопрос: какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались — по крайней мере как мы склонны предполагать — в направлении, получившем универсальное значение» 61. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо составить всемирно-историческую карту железнодорожных путей. Какие еще пути движения были в принципе возможны для исторических поездов? И при прохождении каких точек осуществлялось отклонение маршрута европейского поезда от маршрута прочих поездов, курсировавших в историческом пространстве?

Такая постановка вопроса уже задает и масштаб карты, и, соответственно, список объектов (путей и транспортных узлов), представленных на карте: Древняя Греция, Древний Рим, Древняя Индия, Древний Китай, Древний Израиль, римская католическая церковь, средневековое европейское общество, протестантизм. Это список объектов, которые Вебер либо сделал предметом специального рассмотрения в тех или иных аспектах, либо упоминал в качестве значимых 62. Все эти объекты важны для Вебера в прямом или косвенном соотнесении с нынешней европейской цивилизацией: в этом соотнесении выявляется их «всемирно-историческое значение». Иначе говоря, карта всемирно-исторического движения интересна Веберу лишь как средство, чтобы понять маршрут и нынешнее местонахождение его собственного поезда.

Но что значит «понять маршрут»? Что вообще значит слово «понимание» применительно к движущемуся объекту?

Как известно, проблема понимания находилась в центре рефлексии о методологических основах гуманитарного знания, начатой в Германии в 1883 году Дильтеем («Введение в науки о духе») и продолженной как самим Дильтеем, так и другими немецкими гуманитариями, прежде всего Зиммелем, Виндельбандом и Риккертом. Веберовские статьи по методологии знания (так называемое «наукоучение») входят в этот контекст. Вебер опирался в первую очередь на работы Зиммеля и Риккерта, однако позиция, занятая Вебером, отличается гораздо большей последовательностью и радикальностью, чем позиции двух вышеназванных ученых. По отношению к проблеме понимания особость веберовской позиции ярче всего видна, если сравнить ее с позицией Дильтея: можно сказать, что в спектре данной дискуссии Вебер и Дильтей занимают крайние участки. Наше сравнение Вебера с Дильтеем будет носить чисто типологический характер, поскольку, во-первых, Вебер не вступал в развернутую прямую полемику с Дильтеем, ограничиваясь сугубо частными замечаниями, а во-вторых, позиция Дильтея становится наиболее ясна с учетом его позднего творчества (1900—1911), и прежде всего работы «Построение исторического мира в науках о духе», впервые опубликованной в 1910 году, то есть уже после трех главных методологических статей Вебера 63. При этом мы будем исходить из представления о фундаментальной связности и органическом единстве всего творчества Дильтея 64.

Для Дильтея понимание противостоит объяснению: понимание — прерогатива наук о духе, объяснение — прерогатива наук о природе. При этом, как бы широко ни распространялась сфера феноменов, подлежащих пони-манию в рамках наук о духе, в конечном счете понимание — это процедура, имеющая своим объектом душевную жизнь: «Природу мы объясняем, душевную жизнь мы понимаем» 65. В «Построении исторического мира…» программная формулировка гласит: «На основе переживания и понимания самого себя, в их постоянном взаимодействии друг с другом формируется понимание проявлений другой жизни и других людей» 66. Категория понимания определяется негативно — в ее противопоставленности объяснению, а позитивно — в ее соотнесенности с таким категориями, как переживание и выражение (или жизнепроявление, или объективация духа). Здесь же Дильтей выделяет три основных класса жизнепроявлений: 1) понятийные и пропозициональные языковые выражения; 2) поступки (Handlungen) и 3) выражения переживания (Erlebnisausdrücke) — последние простираются от мимики и жестов до больших художественных произведений 67. Эта трехступенчатая градация имеет откровенно ценностный характер: от низшего к высшему. Таким образом, «настоящее», «полноценное» понимание реализуется по отношению к художественным произведениям; языковые же выражения «не представляют практически никакого интереса для гуманитарных наук» 68, а поступки занимают промежуточное место: они «не осуществляются с прямым коммуникативным намерением. При этом мотив, ведущий к совершению поступка, может дать лишь ограниченное представление о полной жизненной взаимосвязи, поскольку он “уничтожает возможности, заложенные в нашем существе”» 69.

Концепция Дильтея, основанная на антитезе объяснения и понимания, при всех своих градуированных построениях, полностью соответствовала 70 классификационным схемам, на которых строилась вся идеология немецкой университетской культуры (Bildung): существует жесткое противостояние двух порядков; в одном царствуют механичность, материя, детерминизм, безличность, повторяемость; в другом царствуют органичность, дух, свободная воля, субъективность, неповторимость 71. Две эти серии признаков могли приписываться разным парам объектов (например, таким, как «настоящее» и «прошлое», «общество» и «община», «Франция/Англия» и «Германия», «позитивизм» и «историзм»): одним из самых распространенных применений этой дихотомии стало к концу XIX века противоположение наук о природе и наук о духе. Этого базового противоположения придерживались, в частности, и экономист Карл Книс, и историк античности Эдуард Мейер, в прямой полемике с которыми формулировал свою методологическую позицию Вебер.

Радикальная новизна позиции Вебера состоит в том, что он исходит не из антитезы, а, наоборот, из взаимосвязи понимания и причинного объяснения. Воссоздание внутреннего мира индивидов и человеческих групп не исключает, а, наоборот, непременно требует причинного объяснения внешних действий этих индивидов и групп. И, в свою очередь, выявление причинной обусловленности человеческих действий не может осуществиться без попытки понять человека изнутри. «Ибо одинаковое по своим внешним свойствам и по своему результату поведение может основываться на самых различных констелляциях мотивов, наиболее понятная и очевидная из которых отнюдь не всегда является определяющей. “Понимание” связи всегда надлежит — насколько это возможно — подвергать контролю с помощью обычных методов каузального сведéния»72.

Как дильтеевское априорное противопоставление понимания и причинности, так и веберовское столь же априорное совмещение понимания и при-чинности может показаться произвольно-схоластическим выбором, пока мы остаемся в области абстрактных понятий. Все меняется, когда мы обращаемся к той конкретной реальности, которая служила — иногда явным, а чаще скрытым — образцом «реальности вообще» для Дильтея или для Вебера; иначе говоря, к той реальности, которая служила базовой метафорой для их построений. Для Дильтея такой первичной реальностью была книга: чтение книги фактически оказывалось прообразом понимания вообще. Рабочую модель процесса понимания дают Дильтею филология и герменевтика, которые воскрешают мертвый текст, проникают через текст в жизненный опыт и переживания автора, этот текст когда-то породившего: герменевтика как универсальная модель исторического и психологического пони-мания — это концепция, унаследованная Дильтеем от Шлейермахера (Дильтей был публикатором, исследователем и биографом Шлейермахера) 73. Понимание книги (как бы мы ни трактовали понимание — как причащение к душевному опыту автора или как уяснение смысловой структуры текста) — совершенно самостоятельная и самодовлеющая задача, пересекающаяся, но затем и расходящаяся с установлением причинно-следственных закономерностей. Герменевт постоянно имеет дело с причинами — частными причинами тех или иных особенностей текста, а также и с той общей и главной причиной текста, которой является личность автора, — но все эти причинно-следственные связи по мере их постижения как бы растворяются в мысленном созерцании особого узора индивидуальной духовной жизни. Узор калейдоскопа, наделенный значениями, — так выглядит жизнь, понятая как книга. Эта концепция приписывает человеческой жизни фундаментальное свойство выразительности.

Совершенно иначе выглядит жизнь, понятая как железнодорожное движение. Прежде всего, в ней совершенно по-иному соотносятся общее и частное. Литература (если мыслить ее как совокупность текстов, а не как совокупность тем, жанров или направлений) — это огромное число уникальных комбинаций, составленных из маленького набора стандартных элементов (букв алфавита, грамматических и синтаксических форм). Сфера уникального и сфера стандартного количественно выражаются здесь несопоставимыми величинами. На железных дорогах сфера уникального многократно суживается: нормальное железнодорожное движение — это стандартные маршруты, проходимые стандартными поездами по стандартным рельсовым путям: каждый из этих рядов количественно сопоставим с рядами стандартных элементов в языке. Нормальное железнодорожное движение — это, казалось бы, сплошь сфера стандартного: оно допускает типовые вариации, но не допускает уникальности, неповторимости. Однако неповторимость обязательно прорывается в железно-дорожное движение, но прорывается лишь в форме случайности: случайных задержек поезда, ошибок персонала и, самое главное, поломок, аварий и катастроф. Даже если мы будем следить не за передвижением отдельных поездов, а за передвижением отдельных пассажиров, количество индивидуальных маршрутов движения, которые пассажир может для себя составить, пересаживаясь с одного поезда на другой, будет, при всем возможном разнообразии этих маршрутов, несопоставимо меньше, чем количество текстов на любом естественном языке. В любом случае, уникальное в железнодорожном движении проявляется не как бесконечное множество свободных комбинаций, а как небольшое число точечных отклонений от безлично-стандартного. Далее, железнодорожное движение ничего не выражает: в нем отсутствуют означающее и означаемое. Ни машинист, ни пассажиры не могут сделать так, чтобы движение поезда выражало их радость, боль или тоску. Разумеется, и пассажир, и внешний наблюдатель могут связать в своем сознании движение поезда с определенным комплексом значений: именно так сам Вебер связал для себя железнодорожное движение с идеей Рока. Но эта единичная субъективная ассоциация не может дать основу для какой-то «герменевтики железнодорожного движения»: движение поездов не имеет внутреннего содержания. Зато оно всегда имеет внешнюю цель. Если жизнь подобна железнодорожному движению, тогда она лишается свойства выразительности, но приобретает взамен другое, столь же фундаментальное свойство: целенаправленность. И выразительность, и целенаправленность делают жизнь осмысленным процессом, но это два принципиально разных модуса осмысленности 74.

Свои исходные установки, связанные с проблемой понимания человеческих проявлений, Вебер изложил в первой своей методологической статье «Рошер и Книс и логические проблемы исторической национал-экономии». В этой обширной, состоящей из трех глав, причем так и не получившей заключения, работе Вебер формулирует свои взгляды в виде подробной критики целого ряда ученых, принадлежащих к самым разным дисциплинам: это не только указанные в заглавии экономисты «исторической школы» Вильгельм Рошер и Карл Книс, но также экономист Фридрих фон Готль, психологи Вильгельм Вундт и Гуго Мюнстерберг, социолог Георг Зиммель, философы Теодор Липпс и Бенедетто Кроче. Основной смысл методологического наступления Вебера по всему этому широкому фронту может быть резюмирован следующими словами-сигналами: «логизм» против «психологизма» и «рациональность» против «иррациональности». Понятно, что при такой расстановке смыслов и акцентов всякий намек на «понимание индивидуальных переживаний», и тем более на «вчувствование», попадает в сферу «психологизма», а то и «иррациональности». Вебер не делает здесь творчество Дильтея предметом подробного рассмотрения, но в примечаниях упоминает Дильтея многократно, указывая на те или иные идейные связи между Дильтеем, с одной стороны, и Рошером, Мюнстербергом, Готлем — с другой. Неудивительно, что Вебер полностью отстраняет филологию и герменевтику от роли универсальной интерпретационной парадигмы, отказываясь даже удостоить эти дисциплины серьезного полемического рассмотрения 75. «Понимание» и «теория значения», которых требует Вебер, — это логическое понимание и логическая теория значения, предполагающие сведение индивидуального жизнепроявления к его роду или виду (Gattung), его причине и, особенно, его цели. Если для Дильтея методологически релевантным образцом понимания выступает понимание художественного произведения, то для Вебера методологически релевантный образец понимания — это понимание армейских команд и приказов, сводящееся к пониманию практической цели этих команд и приказов 76. Можно сказать, что в плане эпистемологической ценности Вебер переворачивает выстроенную Дильтеем иерархию жизнепроявлений. Если в классификации Дильтея поступок (die Handlung) выступает как неполноценное подобие художественного произведения, то в «наукоучении» Вебера художественное произведение могло бы мыслиться лишь как неполноценное подобие поступка (das Handeln)77.

При этом в статье «Рошер и Книс…» Вебер обращается однажды к некоей транспортной метафоре, которая не связана с железной дорогой, однако тесно связана с вопросом о причинном объяснении. Это — фраза из диссертации Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного основания» (2-е, переработанное изд. — 1847) 78. В 20-м параграфе диссертации, яростно опровергая идею первопричины и утверждая идею бесконечной цепи причин и следствий, Шопенгауэр пишет:

Das Gesetz der Kausalität ist also nicht so gefällig, sich brauchen zu lassen, wie ein Fiaker, den man, angekommen wo man hingewollt, nach Hause schickt (Schopenhauer 1957, S. 53).

[Следовательно, закон каузальности не столь услужлив, чтобы можно было пользоваться им как фиакром, который довозит вас туда, куда вы хотите, после чего вы отсылаете его домой] 79.

Вебер вспоминает эту негативную метафору каузальности, когда подвергает критическому разбору психологическую теорию Мюнстерберга. Мюнстерберг (в очередной раз воспроизводя базовую схему немецкой университетской идеологии) постулировал изначальное и непреодолимое различие между двумя видами познания: познанием «объективирующим», которое оперирует такими категориями, как закон, причинность, понятие, — и познанием «субъективирующим», которое оперирует вчувствованием и имеет дело с внутренним опытом «я». Естественно, первый вид познания закрепляется за «науками о природе», второй — за «науками о духе». Комментируя эти посылки Мюнстерберга, Вебер пишет:

Nun hat schon Schopenhauer einmal gesagt, die Kausalität sei «kein Fiaker, den man beliebig halten lassen kann». Da aber, nach Münsterberg, die Kluft zwischen «subjektivierender» und «objektivierender» Auffassung ein solches Innehalten an der Grenze des «noёtisch» Zugänglichen unvermeidlich machen würde, so v e r w i r r t er die Anwendbarkeit der Kausalitätskate-gorie auf das «subjektivierende» Erkennen überhaupt (Weber 1922, S. 77).

[Между тем, еще Шопенгауэр однажды сказал, что каузальность — «не фиакр, который можно останавливать, где вам заблагорассудится». Однако, согласно Мюнстербергу, пропасть между «субъективирующим» и «объективирующим» воззрением делает неизбежной именно такую остановку [каузальных детерминаций] у границы того мира, который доступен лишь «ноэтически», поэтому Мюнстерберг о т в е р г а е т применимость категории каузальности к «субъективирующему познанию» вообще.]

На заимствование шопенгауэровской метафоры можно было бы не обратить особого внимания, если бы Вебер дважды не вернулся к этой метафоре тринадцать лет спустя, в докладе «Политика как профессия и призвание». Здесь метафора используется без прямой ссылки на Шопенгауэра и применяется не к теории познания, а к совершенно иным областям жизни. Первый раз — когда речь идет о Нагорной проповеди:

К абсолютной этике [Евангелия] относится все то же, что было сказано о каузальности в науке: это не фиакр, который можно остановить в любой момент, чтобы входить и выходить по своему усмотрению. Но всё или ничего: именно таков ее смысл <…> (Вебер 1990, с. 695; выделено автором).

Второй раз — когда речь идет о «низких мотивах», во многом определяющих действия аппарата революционной партии:

…эта вера, даже там, где она субъективно честна, в весьма значительной части случаев является по существу этической «легитимацией» жажды мести, власти, добычи и выгодных мест — пусть нам тут ничего не наговаривают, ибо ведь и материалистическое понимание истории — не фиакр, в который можно садиться по своему произволу, и перед носителями революции оно не останавливается! <…> (Вебер 1990, с. 702).

Очевидно, что шопенгауэровская метафора фиакра входит в некий порождающий центр веберовского мышления, в его ядерную часть. Об этом свидетельствует не только троекратное повторение метафоры, не только длительный интервал между ее первым и двумя последующими появлениями, но и тот в высшей степени замечательный факт, что одна и та же ментальная конструкция всплывает в столь различных для сознания Вебера сферах, как наука, этика и политика. Это было бы нисколько не удивительно в случае сознания, ориентированного на синтезирующий подход к миру, — но сознание Вебера было одержимо идеей трагического расчленения жизненных сфер (Lebensordnungen): «казалось, что он с непререкаемой последовательностью все только разъединяет, а не соединяет в завершенной картине» 80. Таким образом, повторяемость метафоры фиакра в принципиально разных контекстах свидетельствует как минимум в пользу тезиса о базовом характере транспортной метафорики у Вебера. Но фиакр — не поезд.

Здесь, однако, нужно вглядеться в те смысловые оттенки, которые имела метафора фиакра у Шопенгауэра, и в те, которые она приобретает у Вебера. Бытовая ситуация, которую подразумевает метафора у Шопенгауэра, вполне ясна: фиакр, описываемый Шопенгауэром, — это господский экипаж, личный транспорт состоятельного человека, имеющего собственный дом. Хозяин велит подать ему фиакр, садится в него, указывает кучеру место назначения, после чего, добравшись до требуемого места, отсылает кучера домой. Акцент здесь делается на том, что существует некая конечная точка, достигнув которую фиакр останавливается (как, по мнению ненавистных Шопенгауэру креационистов, останавливается и закон причинности, упершись в конечную точку, то есть в первопричину). Вебер вполне сохраняет основный смысл метафоры: фиакр принадлежит к сфере обслуживания, он услужливо («gefällig» — у Шопенгауэра, «beliebig» — у Вебера) подчиняется воле седока, однако этим седоком теперь является не барин—владелец фиакра, а горожанин, который останавливает на улице извозчика, говорит ему: «Езжай вперед», а потом вдруг в какой-то момент говорит: «Стой». Акцент падает не на достижение конечной точки, а на свободу входа и выхода из фиакра, а также на полную свободу выбора маршрута. Мы полагаем, что, акцентируя именно эти признаки пользования фиакром, Вебер опирался на имплицитное противопоставление фиакра поезду.

Проведем мысленный эксперимент: Шопенгауэр, если бы пожелал в 1847 году, вполне мог бы заменить в своем сравнении фиакр на поезд — и после такой замены сравнение все равно сохранило бы свою пригодность («Закон каузальности — не поезд, который услужливо останавливается по воле машиниста, достигнув станции назначения»). Конечно, существенно ослабилась бы семантика господского произволения/лакейской услужливости, важная для диатрибы Шопенгауэра, но, так или иначе, подобная замена была бы в принципе возможна. Если же мы попробуем проделать тот же мысленный эксперимент над веберовскими метафорами фиакра, у нас ничего не получится: в поезд нельзя входить, когда заблагорассудится, и из него нельзя выходить по своему усмотрению. Наоборот, было бы вполне возможно использовать образ поезда в трех рассматриваемых нами веберовских контекстах, заменив негативное сравнение — позитивным («Каузальность — это поезд, который нельзя останавливать, где вам заблагорассудится», «Абсолютная этика Евангелия — это поезд, который нельзя остановить в любой момент, чтобы входить и выходить по своему усмотрению. Но всё или ничего…»; «Ведь материалистическое понимание истории подобно поезду, с которого нельзя слезть в любой момент, и перед носителями революции этот поезд не останавливается»). Учитывая значимость образа поезда для Вебера, которую мы считаем бесспорной, мы полагаем вполне правомерным говорить о неявном устойчивом противопоставлении поезд vs. фиакр как о базовой метафорической схеме мышления Вебера.

О шопенгауэровской диссертации нам еще раз придется вспомнить в конце нашего анализа. Сейчас вернемся к «наукоучению» Вебера. В статье «Рошер и Книс...» Вебер непрерывно атакует то жесткое противопоставление наук о природе и наук о духе, которое было общепринятым в Германии к концу XIX века 81. Нетрудно заметить, что модель железнодорожного движения полностью перечеркивала эту общепринятую дихотомию. В самом деле: железнодорожное движение сочетает безусловную механичность, стандартизованность и безличность (сфера «наук о природе») с безусловным господством человеческого целеполагания, свободного выбора, а также с неустранимой ролью уникальных случайностей (сфера «наук о духе»). Реальность, увиденная в свете железнодорожной метафоры, оказывалась между чистой «природой» и чистым «духом», она изначально совмещала в себе признаки обоих этих начал, и, стало быть, для адекватного постижения этой реальности нужно было найти такой подход, который изначально и парадоксально совмещал бы в себе аналитические приемы, традиционно относившиеся к познанию природы, с аналитическими приемами, традиционно относившимися к познанию проявлений человеческого духа. Природа была сферой общего, и для ее познания применялся каузальный анализ; история духа была сферой единичного, и для ее постижения применялось герменевтическое искусство понимания: требовавшийся Веберу подход должен был основываться на перекоммутации привычных соединений; он должен был строиться то ли как понимание общего, то ли как каузальный анализ единичного. И Вебер разработал подход, в рамках которого оказались логически взаимоувязаны оба эти еретических принципа: каузальный анализ единичного и понимание общего.

Задачу, которую Вебер решает практически во всех своих разборах конкретно-исторического материала, сам Вебер называет «kausale Zurech-nung» (буквально: «приписывание причины»; М.И. Левина в своих переводах работ Вебера передает этот термин словосочетанием «каузальное сведéние») 82. Приписывание причины предстает у Вебера фактически как некая априорная форма исторического сознания, некий основной инстинкт исторического разума; историк, по определению, одержим каузальным эросом. Если общее трансцендентальное условие наук о культуре состоит в наличии у исследователя собственной ценностной позиции, позволяющей выделять те или иные элементы культурной реальности как значимые 83, то вслед за этим общим условием у Вебера фактически идет специфическое трансцендентальное условие исторических наук, состоящее в том, что всякому значимому элементу реальности ищется причина: «Мы стремимся понять окружающую нас действительную жизнь в ее своеобразии — взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе» 84. Первый шаг историка — приписывание значимости, второй шаг — приписывание причины.

Приписывание значимости позволяет историку вырваться из бессмысленной бесконечности связей и явлений, образующих реальность. Этот шаг дается историку без труда, как бы автоматически (в логическом пределе — действительно автоматически, то есть бессознательно): просто за счет его изначальной включенности в определенную культуру. На следующем шаге историк вновь оказывается перед неохватной бесконечностью явлений и связей — на этот раз явлений и связей предшествующего прошлого. Из это-го бесконечного множества нужно выделить изолированные элементы в качестве причин. Но это выделение уже не может совершиться с той автоматической легкостью, с какой совершалось выделение значимых элементов из первоначально данной действительности. Отношение историка к значимым элементам окружающей действительности было непосредственным; его отношение к удаленным во времени причинам этих значимых элементов неизбежно является опосредованным. Поэтому выделение релевантных причин из бесконечности многообразных предшествий не может совершиться само собой, оно требует от историка специальных усилий и специальных приемов. Приемы же эти состоят в конструировании и проведении ряда мысленных экспериментов: «Каузальное сведéние совершается в виде мыслительного процесса, содержащего ряд абстракций»85.

Свою технику каузального сведéния единичных исторических феноменов Вебер смог найти за счет обращения к аналитическим моделям, разрабатывавшимся в Германии в конце XIX века на стыке теории вероятности, криминалистики и юриспруденции 86. Главную роль тут для Вебера сыграли труды Иоганнеса фон Криса (Johannes von Kries, 1853—1928)87. Вебер непосредственно опирается на статью фон Криса «О понятии объективной возможности и некоторых его применениях» (1888), но также ссылается и на главный труд фон Криса по теории вероятности «Принципы исчисления вероятности: Логическое исследование» (1886) 88. Концепция фон Криса основывалась на тщательно выстроенном философском (неокантианском) фундаменте и в главной своей части представляла собой сложный формально-логический и статистический аппарат. Но Веберу нужен не этот аппарат, изначально не подходящий для работы в сфере гуманитарных наук 89, а как раз те «некоторые применения» крисовской концепции, о которых говорится в заглавии упоминаемой Вебером статьи фон Криса. Одним из таких применений была криминалистика, и именно это применение идей фон Криса оказывалось принципиально важным для целей Вебера. Дело в том, что центральный для криминалистики вопрос об установлении уголовной вины «по своей логической структуре совершенно совпадает с вопросом об исторической причинности»90.

Таким образом, криминалистика и история оказываются науками-близнецами 91.

Юридически-криминалистической проблемой, к решению которой стремился приложить свою теорию сам фон Крис, была проблема вменения ответственности в делах, относящихся к гражданскому праву, где отсутствует преступный умысел. Чтобы вменить ответственность, необходимо возвести конкретную ситуацию к конкретной причине (то есть произвести «каузальное сведéние» единичного феномена). Фон Крис различает два типа знания, соответствующих двум типам детерминаций, встречающихся в действительности: «номологическое» знание относится к классам явлений и выражается в форме законов природы; «онтологическое» знание относится к случайным индивидуальным особенностям единичных явлений и не может быть сведено ни к каким общим закономерностям 92. Однако знание, которое нам требуется для вменения ответственности в делах по гражданскому праву, — это, согласно фон Крису, отнюдь не «онтологическое», а именно «номологическое» знание — несмотря на то, что в данном случае речь совсем не идет о законах природы. Дело в том, что «номологическое» знание, по фон Крису, относится не только к законам природы, но и к статистическим закономерностям. Интересующая же фон Криса юридическая проблема может быть переформулирована в вероятностно-статистических терминах. Мы будем считать некое обобщенно взятое событие «объективно возможным», если набор потенциально значимых условий, при которых оно произойдет, превышает сумму условий, при которых оно не произойдет. Тот же самый принцип рассуждения может быть сохранен и безо всякого количественно-статистического опосредования, в чисто качественной форме. Чтобы выяснить, до какой степени тот или иной конкретный фактор повлиял на тот или иной конкретный результат, требуется провести мысленный эксперимент и представить себе, как будет выглядеть та же самая ситуация, если данный фактор отсутствует или видоизменен. Мы вправе считать данный фактор каузально значимым («адекватно обусловливающим»), если при его отсутствии ситуация будет иметь иной исход, отличный от первоначально данного.

Вся модель, предлагаемая фон Крисом, исходит из пространственно-кинетических представлений о причинности. Как подчеркивает Фриц Рингер,

[фон Крис] сфокусировал внимание на двух особенно ясных случаях адекватной причинной обусловленности. Во-первых, мы с уверенностью приписываем отклонение от обычного хода событий (поезд не смог благополучно пройти сквозь железнодорожный узел) изменению обычных предшествий (железнодорожная стрелка не была правильно переключена). Во-вторых, если положение вещей оставалось неизменным на протяжении некоторого периода времени, а затем претерпело перемену, мы уверенно возводим эту перемену к появлению нового причинного фактора, вмешавшегося в ситуацию. В обоих этих случаях идея каузации как «активного причинения» высвечивается особенно ярко — поскольку мы видим, как причина изменяет набор начальных условий, поворачивает в новом направлении ход событий и приводит к исходу, отклоняющемуся от того результата, который можно было бы ожидать при отсутствии данной причины. Вся эта концепция носит динамический характер: она имеет дело с процессами, с последовательностями событий [sequences], а не с разрозненными событиями, сменяющими друг друга во времени 93.

В высшей степени показателен тот пример, с помощью которого фон Крис иллюстрирует свои рассуждения. В качестве примера он берет несчастный случай на транспорте. Фон Крис предлагает нам вообразить фиакр (очевидная отсылка все к тому же Шопенгауэру!), которым управляет пьяный кучер. Из-за своего опьянения кучер в какой-то момент сбивается с пути, отклоняется от требуемого маршрута. Когда фиакр уже отдалился от правильного пути, в пассажира, сидящего в фиакре, ударяет молния, и он погибает. В данном случае мы не будем возлагать на кучера ответственность за гибель пассажира — в силу двух взаимосвязанных причин: 1) отклонение кучера от правильного пути не увеличивало объективную вероятность попадания молнии в пассажира; 2) у нас отсутствуют основания для построения вероятностных расчетов, связывающих опьянение кучеров с попаданием молнии в пассажиров. А теперь, предлагает фон Крис, вообразим себе другую ситуацию: пьяный кучер сбился с пути, и фиакр свалился в канаву. В этом случае ответственность возлагается на кучера, поскольку его опьянение, бесспорно, увеличило вероятность такого исхода и мы можем строить «номологические» суждения по этому поводу 94.

В своей методологии каузального сведéния единичных исторических феноменов Вебер полностью заимствует у фон Криса и ход рассуждений, и главные понятия (понятия «объективной возможности» и «адекватной причинной обусловленности»), и приемы гипотетической реконструкции 95. Но нам здесь важно подчеркнуть изначальную пригнанность всех этих приемов к анализу определенного класса случаев, а именно несчастных случаев на транспорте. Вебер в своей статье об объективной возможности и адекватной причинной обусловленности ни разу не сослался на пример с кучером, который приведен в статье фон Криса. Однако именно этот пример идеально совпадал с веберовским видением мира. Он позволял сблизить историческое исследование с расследованием причин транспортной катастрофы 96.

В точности следуя за фон Крисом, Вебер так описывает главный мысленный эксперимент, лежащий в основе каузального сведéния: «Первая и наиболее важная [абстракция] состоит в том, что мы, исходя из реальных каузальных компонентов события, мысленно представляем себе один или некоторые из них определенным образом измененными и задаем вопрос, следует ли при измененных таким образом условиях ждать тождественного в “существенных” пунктах или какого-либо иного результата» 97. Таким образом, каузальное сведéние — это всегда сравнение реально данного нам хода событий с неким иным, чисто гипотетическим ходом. «Для того, чтобы понять природу реальных причинных связей, мы конструируем связи нереальные»98. Если каузальное сведéние — конечная цель исследователя, то средством для достижения этой цели всегда является специально сконструированная ирреальная модель хода событий.

Очевидно, что веберовская концепция каузального сведéния носит столь же ярко выраженный, как и у фон Криса, пространственно-кинетический характер. По точной формулировке Рингера, веберовская модель «имеет дело с траекториями бегущих событий [courses of events], с контрафакциями этих траекторий и с расхождениями альтернативных путей и исходов»99. Рингер представляет веберовскую модель каузального сведéния единичных событий в виде диаграммы:

Сходство этой диаграммы со схемой железнодорожной развилки или с реконструкцией железнодорожного происшествия, вызванного неправильными действиями стрелочника, не требует комментариев. Теперь мы видим, что аллегория со стрелочником, использованная Вебером при описании движущих сил истории, по сути, является не изолированной передающей метафорой, а универсальной веберовской схемой представления причинно-следственных связей.

Так выглядит у Вебера причинное объяснение. Но точно так же выглядит у него и понимание. Ведь всякое понимание есть понимание смысла тех или иных человеческих проявлений, а осмысленность любых человеческих проявлений — осмысленность жизни, поведения, действия, высказывания — изначально берется Вебером не как выразительность, а как целенаправленность. Соответственно, всякое поведение или действие (а именно эти два типа человеческих проявлений интересуют Вебера непосредственно) в конце всегда приводит к некоей цели (результату), а вначале всегда имеет исходную направленность на некую цель: эта направленность есть мотив действия или поведения. И понимание всякого поведения или действия есть прежде всего понимание мотивов. Таким образом, человеческое поведение всегда мыслится Вебером пространственно-кинетически: как пробег от мотива к результату. Триада «мотив — поведение — результат» в структурном и операциональном отношении совершенно аналогична триаде «причина — ход событий — конечный итог».

Понимание мотивов человеческого действия строится у Вебера точно по той же схеме, что и каузальное сведéние. Чтобы понять конкретное человеческое действие, нужно сперва построить совершенно абстрактную модель «нормальной» мотивации этого действия. «Нормальная» мотивация — это ничем не замутненная, никуда не отклоняющаяся направленность на желательный результат. Такую мотивированность Вебер называет, как известно, целерациональной: «Целерациональным мы называем поведение, ориентированное только на средства, (субъективно) представляющиеся адекватными для достижения (субъективно) однозначно воспринятой цели»100. Целерациональная мотивация является «чистой», поскольку направленность на желательный результат не осложнена здесь никакими иными факторами — ни аффектами, ни верностью надличным ценностям, ни привычным следованием традиции 101. Выстроив эту «нормальную» (в реальной жизни никогда не встречающуюся в чистом виде 102) модель поведения, мы получаем возможность оценить («измерить», как говорит Вебер) степень отклонения реально данного индивидуального поведения от этой модели и, путем постепенной аппроксимации, в конце концов приписать данному поведению адекватную мотивационную обусловленность — точно по той же схеме, по какой мы приписываем историческому процессу адекватную причинную обусловленность 103. (Понятно, что с целерациональной точки зрения эта адекватная данному поведению мотивация сплошь и рядом выглядит как полнейшая «неадекватность».)

Абстрактные модели, используемые как для понимания мотиваций, так и для объяснения причин, Вебер называет идеальными типами. Идеальные типы, по Веберу, — это «чисто логические вспомогательные средства <…>, в сравнении с которыми <…> измеряется действительность»104. Сама по себе идея о построении абстрактных моделей социально-экономического поведения пришла к Веберу не от фон Криса, а от австрийского экономиста-неоклассика Карла Менгера, тогда как выражение «идеальный тип» было, видимо, заимствовано Вебером у знаменитого правоведа Георга Еллинека (Еллинек стал одним из близких друзей Вебера после переезда Вебера в Гейдельберг в 1896 г.) 105. Но для нас важна в данном случае не структура и не словесная обертка понятия «идеальный тип», а та специфическая инструментальная функция, которую это понятие приобретает в научной программе Вебера. Функция же состоит в том, что понятие, восходящее к Менгеру и Еллинеку, включается у Вебера в крисовскую схему анализа адекватной причинной обусловленности. При всей широте объема, который свойствен понятию «идеальный тип» у Вебера 106, наиболее специфичной особенностью веберовского пользования этим понятием является соотнесение идеального типа с реальным объектом 107, причем соотнесение это мыслится в пространственно-кинетических категориях и может быть представлено в одной и той же диаграмматической форме как для случаев объяснения (приписывания причин), так и для случаев понимания (приписывания мотиваций).

Таким образом, и понимание, и объяснение восходят у Вебера к одной и той же архетипической схеме. Объяснение и понимание оказываются однородны друг другу — поэтому они не исключают, а взаимно предполагают друг друга: «Социология […] есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым [!] каузально объяснить его процесс и воздействие»108. Точнее говоря, понимание становится у Вебера специфической разновидностью причинного объяснения: «Чисто “смысловые” интерпретации конкретного поведения как таковые даже при наибольшей “очевидности” и для социологии являют собой, конечно, лишь гипотезы каузального сведéния»109. «В нашем понимании “цель” — это та-кое представление о результате, которое становится причиной действия, и так же, как мы принимаем во внимание любую причину, способствующую значимому результату, мы принимаем во внимание и данную. Специфическое значение данной причины состоит лишь в том, что наша цель — не только конституировать поведение людей, но и понять его»110. И это столь типичное для Вебера подведение понятия мотивации под общую категорию причинности вновь возврашает нас к 20-му параграфу диссертации Шопенгауэра «О четверояком корне…» — тому самому параграфу, где содержалось негативное сравнение закона каузальности с фиакром. Здесь же Шопенгауэр дает свою классификацию форм каузальности:

Таким образом, каузальность, эта ведущая сила всех изменений, выступает в природе в трех различных формах: как причина в узком смысле слова, как раздражение и как мотив. Именно на этом различии, а не на внешних анатомических или даже химических признаках, и основана истинная и существенная разница между неорганическими телами, растениями и животными. <…> Ведь мотивация — это только проходящая через познание каузальность <…> Мотив — это причина, и он действует с той же необходимостью, которая присуща всем причинам. У животного, чей интеллект прост и дает только познание настоящего, эта необходимость сразу бросается в глаза. Интеллект человека двойствен: кроме созерцаемого, он обладает и абстрактным познанием, которое не связано с настоящим, т. е. обладает разумом. Поэтому он может с ясным сознанием совершать выбор между решениями, а именно может взвесить взаимно исключающие мотивы как таковые, т. е. позволить им испытать свою власть над его волей, после чего более сильный мотив определяет его волю, и его действие следует с такой же необходимостью, с какой катится толкнутый шар 111.

Как понимание человека, так и понимание исторических процессов сводится Вебером к объяснению точечных отклонений от стандартных, типовых путей движения. И идея типового маршрута, имеющего конечную направленность, и идея точечного отклонения от такого маршрута предполагают совершенно определенную базовую метафорику. Это метафорика транс-портного движения — то есть, в случае Вебера, прежде всего и по преимуществу железнодорожного движения и железнодорожной катастрофы.

**7. Вместо заключения**

Для того, чтобы дать полноценное заключение нашему анализу и сколь-ко-нибудь прояснить все общие вопросы, которые могли возникнуть у читателя по ходу нашего рассмотрения веберовской метафорики, требовалось бы последовательно изложить нашу позицию по проблемам тропологического анализа дискурса вообще и тропологического анализа дискурса социальных/гуманитарных наук в частности. Обоснование этой позиции потребовало бы ненамного меньше объема, чем сама статья, поэтому мы оставляем эту задачу до более удобного случая. Вместо этого мы зададимся здесь гораздо более локальным и гораздо менее строгим вопросом: если бы сбылась мечта Вебера, высказанная в его фрейбургской инаугурационной лекции, и ему дано было бы встать из могилы, но не через несколько тысяч лет, а сегодня, восемьдесят пять лет спустя после его смерти, — какова была бы его реакция — нет, не на сегодняшнюю объединенную Германию, а на нашу статью (которую он вполне смог бы прочитать в подлиннике, поскольку владел русским языком)?

Мы думаем, что, прочитав ее, Вебер в ярости вымарал бы из своих работ все упоминания о фиакрах, поездах, железнодорожных стрелках и даже трамваях и лифтах. Он бы с ужасом признал если не обоснованность, то хотя бы частичное правдоподобие наших выводов — и сделал бы все, от него зависящее, чтобы на будущее обезопасить свои работы от такого рода интерпретаций, стирающих грань между общезначимым знанием и личным самовыражением. Он сделал бы, по своему обыкновению, все, чтобы максимально далеко развести науку и искусство, публичное и интимное, рациональное и иррациональное, логические понятия и образное мышление. «Строгий ученый против апологета произвольности» — вот как была бы названа многими эта картина. Но это было бы ложное опознание.

В отличие от тех, кто всегда противопоставляет науку и искусство, но также и в отличие от тех, кто всегда объединяет науку и искусство до полной неразличимости, мы считаем, что дистанция между «наукой» и «искусством» исторически подвижна, причем сокращение/увеличение этой дистанции происходит вновь и вновь в неизменном, регулярном ритме (хотя и в ускоряющемся с ходом истории темпе). Каждое научное сообщество со временем проходит один и тот же путь от гигантов к карликам, от нового видения мира к собиранию паззлов, от ремесла к конвейеру, от метафор к исчислениям. Между степенью «персональности» знания и степенью его «метафоричности» существует известная корреляция: по мере того, как понижается «персональность» знания, понижается и его «метафоричность»: в этом процессе понижения и состоит прогресс науки. Степень активности базовых метафор в мышлении ученого может служить показателем его места в историческом цикле развития дисциплины. Поэтому, выявляя активное метафорическое ядро в мышлении Вебера, мы лишь фиксируем его место в развитии научного знания. Все свои исполинские силы Вебер потратил на то, чтобы социология как можно больше продвинулась от Платона и Данте по направлению к Талкотту Парсонсу. Как ученый, он, несомненно, предпочел бы походить на Парсонса; но, вопреки его желаниям, в нем было нечто от Платона и Данте.

А может быть, Вебер и иначе посмотрел бы на нашу статью. Может быть, он вспомнил бы, что «есть науки, которым дарована вечная молодость»112, и согласился бы признать, что эта молодость и есть не что иное, как вновь и вновь происходящие вспышки метафорического ядра.

Выражаю сердечную благодарность Сергею Зуеву и Андреасу Шёнле за их дружеское содействие в получении материалов, которые мне были необходимы для этой статьи. Я глубоко благодарен Григорию Дашевскому, Андрею Зорину, Ревекке Фрумкиной и Михаилу Ямпольскому, прочитавшим черновой вариант статьи и высказавшим чрезвычайно важные для меня замечания. Особая благодарность — Александру Дмитриеву за его неоценимую помощь на всех стадиях работы над данной статьей.

**Список литературы**

Арендт 2002 — Арендт Х. Вальтер Беньямин. 1892—1940 / Пер. с англ. Б. Дубина // Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований.

Арон 2000 — Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / Сост., общая ред. и пер. с фр. И. А. Гобозова // М.: Per Se; СПб.: Университетская книга (серия «Книга света»).

Бендикс 1994 — Бендикс Р. Образ общества у Макса Вебера [1960] / Пер. с англ. С. В. Карпушиной под ред. В. С. Егоровой // Вебер 1994. С. 567—588.

Блауберг 2003 — Блауберг И.И. Анри Бергсон. М.: Прогресс-Традиция.

Вебер 1990 — Вебер М. Избранные произведения / Сост., общая ред. и послесловие Ю.Н. Давыдова, предисловие П.П. Гайденко. М.: Прогресс.

Вебер 1994 — Вебер М. Избранное. Образ общества / Сост., общая ред. Я.М. Бергера, С.Я. Левит, Л.Т. Мильской. М.: Юрист (серия «Лики культуры»).

Вебер 2003 — Вебер М. Политические работы (1895—1919) / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: Праксис (серия «Образ общества»).

Гадамер 1988 — Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем. под общей ред. Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс.

Гайденко 1990 — Гайденко П.П. Социология Макса Вебера // Вебер 1990. С. 5—43.

Гейне 1958 — Гейне Г. Лютеция: Статьи о политике, искусстве и народной жизни / Пер. А.В. Федорова под ред. АИ. Дейча // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ. Т. 8.

Гинзбург 1989 — Гинзбург Л.Я. Что такое линия? // Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л.: Сов. писатель. С. 178—182 [фрагмент относится к 1930-м гг.].

Гинзбург 2004 — Гинзбург К. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история / Пер. с итал. С. Козлова. М.: Новое изд-во. С. 189—241.

Давыдов 1990 — Давыдов Ю.Н. «Картины мира» и типы рациональности (Новые подходы к изучению социологического наследия Макса Вебера) // Вебер 1990. С. 736—771.

Делёз 1993 — Делёз Ж. Платон и симулякр / Пер. с фр. С. Козлова // НЛО. № 5. С. 57—64.

Дильтей 2000 — Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Дом интеллектуальной книги.

Дильтей 2001 — Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М.: Дом интеллектуальной книги.

Дильтей 2004 — Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М.: Три квадрата.

Кертис 2004 — Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литера-тура / Пер. с англ. Д. Баскина. СПб.: Академический проект.

Козлов 1990 — Козлов С.Л. Литературная эволюция и литературная революция: к истории идей // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига: Зинатне. С. 112—118.

Кравченко 2002 — Кравченко Е. Макс Вебер. М.: Весь мир.

Куренной 2004 — Куренной В.А. Предисловие редактора // Дильтей 2004. С. 11—34.

Маккормак 1990 — Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры [главы из книги] / Пер. с англ. А.Д. Шмелева // Теория метафоры / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. М.: Прогресс. С. 358—386.

Маркс 1956 — Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / Изд. 2-е. Т. 7. М., 1956. С. 5—110.

Неусыхин 1994 – Неусыхин А.И. «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки./ Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 589—657.

Патрушев 1992 — Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. М.: Изд-во МГУ, 1992.

Плотников 2000 — Плотников Н.С. Жизнь и история: Философская программа Вильгельма Дильтея // Дильтей 2000. С. 13—264.

Рингер 2002 — Рингер Ф. Закат немецких мандаринов (избранные главы) / Пер. с англ. М. Лоскутовой под ред. Д. Александрова и М. Майофис, коммент. А.Н. Дмитриева // НЛО. № 53. С. 108—158.

Тиханов 2002 — Тиханов Г. Почему современная теория литературы возникла в Центральной и Восточной Европе? / Пер. с англ. С. Силаковой // НЛО. № 53. С. 75—88.

Уайт 2002 — Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та.

Хеннис 1997 — Хеннис В. Макс Вебер — воспитатель / Пер. Р.П. Шпаковой // Макс Вебер, прочитанный сегодня. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 50—67.

Шопенгауэр 1993 — Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания. Мир как воля и представление. Т. 1. Критика кантовской философии. М.: Наука («Памятники философской мысли»).

Ямпольский 2004 — Ямпольский М. Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шо-лем, Кафка // НЛО. № 67. С. 78—105.

Ясперс 1994 — Ясперс К. Речь памяти Макса Вебера / Пер. М.И. Левиной // Вебер 1994. С. 553—566.

Bauman 1991 — Bauman Z. Modernity and Ambivalence. Oxford: Polity Press.

Chol-uj 1995 — Chol-uj B. Max Weber und die Erotik // Treiber & Sauerland 1995.

S. 242—263.

Fogt 1981 — Fogt H. Max Weber und die deutsche Soziologie der Weimarer Republik: Aussenseiter oder Gründervater? // Lepsius 1981. S. 245—273.

Gay 1978 — Gay P. Freud, Jews, and Other Germans: Masters and Victims in Modernist Culture. N. Y.: Oxford University Press.

Ginzburg 2004 — Ginzburg C. Family Resemblances and Family Trees: Two Cognitive Metaphors // Critical Inquiry. Vol. 30 (Spring 2004). P. 537—556.

Harshav 1993 — Harshav B. Language in Time of Revolution. Berkeley: University of California Press.

Honigsheim 1968 [1963] — Honigsheim P. On Max Weber / Transl. by J. Rytina. N.Y.: Free Press — Michigan State University: Social Science Research Bureau [первоначальноопубликованокак: Honigsheim P. Erinnerungen an Max Weber // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Bd. 15 (1963). P. 161—271.]

Käsler 1984 — Käsler D. Die frühe deutsche Soziologie 1909—1934 und ihre Entste-hungsmilieus. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Käsler 2002 [1999] — Käsler D. La sociologie: une secte juive? Le judaïsme comme milieu d’émergence de la sociologie allemande // Revue germanique internationale. Vol. 17.

P. 95—110 [первоначальноопубликованокак: Käsler D. «Soziologie ist eine jüdische Sekte»: Das Judentum als zentrales Entstehungs-Milieu der frühen deutschen So-ziologie // Wirtschaft und Gesellschaft: Franz Oppenheimer und die Grundlegung der Sozialen Marktwirkschaft / Hrsg. v. E.-V. Kotowski, J. Schöps, B. Vogt. Berlin, 1999].

Kocka 1985 [1966] — Kocka J. Max Weber und Karl Marx: Ein methodologischer Ver-gleich // Geschichte und Ökonomie / Hrsg. v. H.-U. Wehler / 2., durchgesehene und erweiterte Aufl. Königstein: Athenäum. [1-япубл. — 1966.]

König 1971 — König R. Die Juden und die Soziologie // König R. Studien zur Sozio-logie. Frankfurt am Main; Hamburg: Fischer.

Koselleck 1979 [1972] — Koselleck R. Darstellung, Ereignis und Struktur // Koselleck R. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 144—157 [статья впервые была опубликована в 1972 г.].

Kries 1888 — Kries J. von. Über den Begriff der objektiven Möglichkeit und einige An-wendungen desselben // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie. Bd. 12.

S. 180—240, 289—323, 394—428.

Lepenies 1985 — Lepenies W. Die drei Kulturen: Soziologie zwischen Literatur und Wis-senschaft. München: Hanser.

Lepsius 1981 — Soziologie in Deutschland und Österreich 1918—1945: Materialen zur Entwicklung, Emigration und Wirkungsgeschichte / Hrsg. von M.R. Lepsius. Op-laden: Westdeutscher Verlag. (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-gie. Sonderheft 23).

Liebeschütz 1970 — Liebeschütz H. Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig: Studien zum Jüdischen Denken im deutschen Kulturbereich. Tübingen: Mohr (Siebeck).

Löwith 1993 [1932] — Löwith K. Max Weber and Karl Marx / Witn a new preface by

B.S. Turner; ed. and with an introd. by T. Bottomore and W. Outhwaite. L.; N.Y.: Routledge [1-еизд. нанем. яз., 1932].

Marianne Weber 1926 — Weber Marianne. Max Weber: Ein Lebensbild. Tübingen: Mohr (Siebeck).

Marianne Weber 1995 — Weber Marianne. Max Weber: Una biografia / Trad. it. di B. Fo-rino. Bologna: Mulino.

Mitzman 1970 — Mitzman A. The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber. N.Y.: Knopf.

Mommsen 1974a — Mommsen W.J. The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Poli-tical Sociology of Max Weber. Oxford: Blackwell.

Mommsen 1974b [1959] — Mommsen W.J. Max Weber und die deutsche Politik, 1890— 1920 / 2., Überarbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen: Mohr (Siebeck). [1-e изд. — 1959.]

Mommsen 1987 — Mommsen W.J. Introduction // Mommsen & Osterhammel 1987.

P. 1—21.

Mommsen & Osterhammel 1987 — Mommsen W.J., Osterhammel J. (Eds). Max Weber and his Contemporaries. The German Historical Institute in London. L.: Unwin Hyman.

Pepper 1942 — Pepper S.C. World Hypotheses: A Study in Evidence. Berkeley; L.A.: University of California Press.

Pepper 1946 — Pepper S.C. The Basis of Criticism in Arts. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Pepper 1948 — Pepper S.C. Introduction // Pepper S.C. World Hypotheses: A Study in Evidence. Berkeley; L.A.: University of California Press. P. I—XIII.

Ringer 1990 [1969] — Ringer F. The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890—1933. Hanover (New Hampshire): Wesleyan Univer-sity Press, University Press of New England [1st ed. 1969]. (См. такжеРингер 2002.)

Ringer 2000 — Ringer F. Max Weber’s Methodology: The Unification of the Cultural and Social Sciences. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press [1st ed. 1997].

Roth 1995a [1988] — Roth G. Marianne Weber e il suo ambiente // Marianne Weber 1995. P. 9—66 [первоначальноопубликованокак: Roth G. Marianne Weber and her Circle // Weber Marianne. Max Weber: A Biography. New Brunswick; Oxford: Transaction Books, 1988].

Roth 1995b — Roth G. Max Weber in Erfurt, Vater und Sohn // Berliner Journal für Soziologie. Heft 3. S. 287—299.

Schelting 1934 — Schelting A. von. Max Webers Wissenschaftslehre: Das logische Prob-lem der historischen Kulturerkenntnis. Die Grenzen der Soziologie des Wissens. Tübingen: Mohr (Siebeck).

Schivelbusch 1986 [1977] — Schivelbusch W. The Railway Journey: The Industrializa-tion of Time and Space in the 19th Century. Leamington Spa; Hamburg; N.Y.: Berg [первоначальноопубликованокак: Schivelbusch W. Geschichte der Eisenbahnreise. München: Hanser, 1977].

Schopenhauer 1957 [1847] — Schopenhauer A. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde / Hrsg. v. M. Landmann, E. Tielsch. Hamburg: Meiner. («Philosophische Bibliothek»).

Schwentker 1987 — Schwentker W. Passion as a Mode of Life: Max Weber, the Otto Gross Circle and Eroticism // Mommsen & Osterhammel 1987. P. 483—498.

Strong 1987 — Strong T.B. Weber and Freud: Vocation and Self-Acknowledgement // Mommsen & Osterhammel 1987. P. 468—482.

Treiber & Sauerland 1995 — Treiber H., Sauerland K. (Hrsg.). Heidelberg im Schnitt-punkt intellektueller Kreise: Zur Topographie der «geistigen Geselligkeit» eines «Weltdorfes»: 1850—1950. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Turner & Factor 1994 — Turner S.P., Factor R.A. Max Weber: The Lawyer as Social Thinker. L.; N.Y.: Routledge.

Vondung 1980 — Vondung K. Geschichte als Weltgericht: Genesis und Degradation einer Symbolik // Kriegserlebnis: Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestal-tung und symbolischen Deutung der Nationen / Hrsg. v. K. Vondung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 70—98.

Weber 1854 — Weber M.M. von. Die Technik des Eisenbahnbetriebs in bezug auf die Sicherheit desselben. Leipzig.

Weber 1922 — Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr (Siebeck). [1. Aufl. — 1920].

Weber 1923 — Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 3. Das antike Judentum. Tübingen: Mohr (Siebeck). [1. Aufl. — 1921].

Weber 1989 — Weber M. Gesamtausgabe. Ser I, Bd. 19 / Hrsg. von H. Schmidt — Glintzer. Tübingen: Mohr (Siebeck).

1) В переводе Б. Дубина — оба «не порождают новой манеры» (Арендт 2002, с. 178).

2) В переводе Б. Дубина — «абсолютная оригинальность, которая существует без предшественников и обходится без последователей» (Там же).

3) См. ее работу 1944 г. «Еврей как пария: скрытая традиция». Название этого очерка было впоследствии так или иначе использовано в заглавиях немецкого, американского и французского сборников эссе Арендт, посвященных еврейской теме. Осмысление концепции Арендт в контексте немецко-еврейской мысли веймарского периода дано в статье М. Ямпольского (2004).

4) Кафка — не только один из четырех главных героев очерка «Еврей как пария» (наряду с Генрихом Гейне, Бернаром Лазаром и Чарли Чаплином), но и вообще один из центральных персонажей сознания Арендт (см.: Ямпольский 2004, с. 83—84).

5) Выдающаяся роль евреев в развитии социального и гуманитарного знания XIX—XX вв. стала за последние десятилетия темой многих исследований, имеющих разную дисциплинарную прописку — от истории и социологии науки до гебраистики. Не вдаваясь в подробное рассмотрение, укажем лишь несколько работ, так или иначе затрагивающих эту тему: Liebeschütz 1970, König 1971, Gay 1978, Bauman 1991, Harshav 1993, Käsler 2002 [1999], Кертис 2004. Свойственные подобным работам концептуальные ходы были недавно использованы для переформулирования той же самой проблематики уже не в национальных, а в чисто географических категориях: см. статью Г. Тиханова (2002).

6) Применительно к социологии эта дилемма была подробно рассмотрена в работе Lepenies 1985.

7) Ср. хотя бы две оценки. Риккерт, 1903: «Величие Макса Вебера как ученого заключается в том, что он создал такую науку о культуре, в которой история связана с систематикой и которая поэтому не укладывается ни в одну из обычных методологических схем; но именно благодаря этому она указывает новые пути специальному исследованию» (цит. по: Неусыхин 1994, с. 589); Ясперс, 1920: «…это его видение представляет собой до сих пор не существовавшее соединение истории и систематики. <…> эта универсальность — не случайное нагромождение раз-личных исследований, все они группируются вокруг одного центра — социологии, которая должна была получить систематическое изложение в его последнем труде» (Ясперс 1994, с. 554). Таким образом, веберовская систематичность должна пониматься двояко: это и систематизирующий подход к истории, и систематическое изложение доктрины — не осуществившееся до конца, но в принципе мыслимое и запланированное самим Вебером (см. его посмертно изданный труд «Хозяйство и общество», 1921).

8) Ср. излюбленную фразу Вебера, которую цитирует Марианна Вебер в предисловии к третьему тому «Сочинений по социологии религии» (1920): «То, что мне не дано сделать, сделают другие» (Weber 1923, S. V).

9) Впрочем, надо подчеркнуть, что оценка наследия Вебера по этому параметру будет зависеть от выбранного нами апперцептивного фона. Если при сравнении с Бахтиным или Беньямином интеллектуальная родословная Вебера кажется относительно однородной, то при сужении угла зрения до того или иного монодисциплинарного контекста немецкой науки конца XIX — начала XX в. наследие Вебера предстает как результат ярко выраженного междисциплинарного скрещивания. В этом состоит исходная мысль книги Turner & Factor 1994, к выводам которой мы полностью присоединяемся. См. также примеч. 10.

10) Неклассифицируемость Вебера — главная тема траурной речи Ясперса: «Кем же он был? На это он и сам не дал ответа, и не знал его. <…> Так кем же был Макс Вебер, если по профессии он не был ни политиком, ни ученым, а по своему мировоззрению ни стоиком, ни христианином? Если на это ответить, что он был философом, то не философом в уже известном до него смысле» (Ясперс 1994, с. 563, 564). «The Puzzle of Weber’s Originality» — так назвали специальный раздел во введении к своей книге Стивен Тёрнер и Реджис Фактор (Turner & Factor 1994, p. 7—10). В отличие от таких вебероведов, как Фридрих Тенбрук и Вильгельм Хеннис, объяснявших позднейшие мифологизированные представления об абсолютной оригинальности Вебера элементарным незнанием контекста немецкой гуманитарной мысли конца XIX — начала XX в., Тёрнер и Фактор подчеркивают реальную и весьма специфичную оригинальность Вебера по отношению к этому контексту: «Вебер был в первую очередь реконцептуализатором материала, разработанного другими учеными. <…> Во многих самых знаменитых работах Вебера — например, его очерках о восточных религиях — прямая опора на предшественников граничит с плагиатом. Но при этом результаты новы, и зачастую новы поразительно» (Turner & Factor 1994, p. 8).

11) Вопрос о степени известности и влиятельности Вебера в немецкой научной жизни 1910—1930-х гг. стал предметом детального рассмотрения в начале 1980-х гг., прежде всего в работах Гельмута Фогта (Fogt 1981; см. также в целом сб. Lepsius 1981) и Дирка Кеслера (Käsler 1984). Гюнтер Рот коротко резюмирует ситуацию так: «При жизни Вебер был всего лишь одним из светил в галактике блестящих ученых, и ничто не позволяло предсказать, что его голос вырвется из шума битвы и будет услышан будущим» (Roth 1995а [1988], p. 9). Более нюансированную оценку дает Вольфганг Моммзен: «При жизни Вебер оказывал лишь ограниченное влияние на развитие социальных наук. Это особенно касается его вклада в оформление социологии как особой дисциплины, хотя и не следует недооценивать его роль как основателя Немецкого Социологического общества, как организатора коллективных научных действий и особенно как вдохновителя конкретных эмпирических исследований. <…> Вопреки давно утвердившемуся мифу, Вебер был наиболее цитируемым и наиболее влиятельным социологом в Германии Веймарского периода» (Mommsen 1987, p. 1); в подтверждение такой оценки Моммзен ссылается на работы Фогта и Кеслера. Подобные демифологизирующие констатации, однако, ничуть не опровергают тезиса о славе Вебера как о специфически посмертном феномене. Ср. слова Марианны Вебер из ее письма Паулю Гонигсгейму: «Я думаю, что слава Вебера сейчас только начинается. Люди будут поражены, когда получат доступ к его трудам (10—12 томов). Я живу ради его земного бессмертия» (цит. по: Roth 1995а [1988], p. 9). Марианна Вебер писала так в 1926 г., завершив издание трудов Вебера и свою работу над монументальным «Жизнеописанием» Вебера. Невозможно не заметить, что по отношению к Веберу его жена Марианна сыграла (хотя и в смягченной форме) ту же роль, какую по отношению к Кафке сыграл Макс Брод.

12) При том, что еще в довоенном Гейдельберге Вебер являлся центром притяжения для весьма обширного круга интеллектуалов (другим, альтернативным центромпритяжения был Стефан Георге — см.: Honigsheim 1968 [1963], p. 2, 79—80; наиболее широкоохватное новейшее описание гейдельбергских микросообществ см. в сб. Treiber & Sauerland 1995), — ни тогда, ни впоследствии Вебер не сформировал никакой школы «веберианцев», о которой мы могли бы говорить в том же смысле, в каком мы говорим о школе дюркгеймианцев в социологии или о фрейдистской школе (психоаналитическом движении).

13) Cр. попытку аналогичного подхода к наследию Вебера в книге Е.И. Кравченко: «Все, написанное им [Вебером], одновременно существует в двух, легко и свободно перетекающих друг в друга измерениях — чисто научном и глубоко личностном, экзистенциальном. <…> [Книга Кравченко] предназначена для читателей, которым мало известна судьба немецкого мыслителя и, стало быть, внутренние, глубоко личностные мотивы его творчества» (Кравченко 2002, с. 8—9). Впрочем, анализ экзистенциального измерения трудов Вебера, развиваемый у Е.И. Кравченко, расположен в иной плоскости, нежели анализ, предлагаемый в нашей статье.

14) Весь жизненный путь Пеппера был подчинен, по его собственным словам, «жгучему желанию познать истину». В поисках истины он прошел сквозь многие горькие разочарования (богословие, физика, идеалистическая философия, догматический материализм), чтобы в конце концов найти истину в прагматизме и гештальтпсихологии (Pepper 1948, p. VII).

15) В своей последней книге, «Понятие и качество» («The Concept and the Quality», 1967), Пеппер дополнил этот список еще одной, пятой гипотезой, принадлежавшей ему самому: он назвал ее «селективизм», а в качестве коренной метафоры указал «целенаправленный акт»: это была гипотеза о выборе между гипотезами. Тем не менее список Пеппера получил известность именно в своем первоначальном, четырехчленном виде.

16Эту особенность концепции Пеппера отмечал Хейден Уайт, использовавший пепперовскую четырехчленную схему как один из опорных элементов в общей четверичной системе своей «Метаистории»: «Определенно, величайшие философы — Платон, Аристотель, Декарт, Юм, Гегель, Кант, Милль — сопротивляются редукции к архетипам, заданным Пеппером. Если угодно, их мысль представляет собой опосредование между двумя и более типами доктрин, выделенных Пеппером. Между тем, идеальные типы Пеппера представляют собой очень удобную классификацию более упрощенных философских систем или мировоззрений» (Уайт 2002, с. 33). Именно благодаря книге Уайта концепция Пеппера сохраняется в нынешнем — преимущественно американском — гуманитарном обиходе.

17) Бросается в глаза контраст между схоластическим (в основе своей) подходом Пеппера к конструированию множеств и эвристически гораздо более продуктивным подходом, который в эти же годы разрабатывался другим поклонником гештальтпсихологии — Людвигом Витгенштейном (мы имеем в виду витгенштейновскую «теорию семейных сходств»).

18) Маккормак 1990, с. 384, с изменением термина «базисный» на «базовый».

19) О метафорах «жизненный цикл организма» (онтогенетическая метафора) и «эволюция вида» (филогенетическая метафора) в связи с работами Фердинанда Брюнетьера см. вкратце: Козлов 1990, с. 116—117.

20) О метафорах «генеалогическое древо» и «семейное сходство» см. статью КарлоГинзбурга: Ginzburg 2004.

21) Наклапанесуперобложкикниги Pepper 1942 издательскаяаннотациягласит: «The author who is Professor of Philosophy and Aesthetics and Chairman of the Depart-ment of Art in the University of California, is well known as the chief proponent of Contextualism». Символическая капитализация понятия «контекстуализм» здесь явлена вполне наглядно.

22) «Благодаря трудам Джемса и Пирса, Шиллера [имеется в виду английский философ Фердинанд Кaннинг Скотт Шиллер] и Бергсона, Мида, Дьюи и многих других он [контекстуализм] уже приобрел большое влияние на современную мысль» (Pepper 1946, p. 56). Пирса и Джемса Пеппер называет «ранними контекстуалистами» (Pepper 1942, p. 268). Как известно, Джемс и Бергсон испытывали глубокий взаимный интерес, и в своей взаимной переписке оба постоянно подчеркивали близость, существующую между прагматизмом и философией Бергсона, — однако ни тот, ни другой никогда не называли философию Бергсона «прагматизмом». Армейская метафора, использованная нами для характеристики символического автопозиционирования Пеппера, восходит к Джемсу, который в письме к Бергсону от 13.06.1907 говорит, что оба они, и Джемс и Бергсон, сражаются с интеллектуализмом: Бергсон как генерал, а он, Джемс, — как простой солдат. Об отношениях Бергсона и Джемса см.: Блауберг 2003, по указателю (цитата из письма Джемса — на с. 362).

23) Этому высказыванию не повезло в русском переводе. В существующем русском переводе веберовского текста, принадлежащем перу М.И. Левиной, образ стрелочника утрачен: «Интересы (материальные и духовные), а не идеи непосредственно господствуют над деятельностью людей; но и “образы мира”, создаваемые “идеями”, очень часто служили вехами, указывающими путь, по которому следовала динамика интересов» (Вебер 1994, с. 55). Если этот перевод не вполне точен, то цитата, приводимая в статье Ю.Н. Давыдова, попросту вводит читателя в заблуждение: «Не [sic! — С.К.] интересы (материальные и идеальные), не идеи — непосредственно господствуют над поведением человека, но: “картины мира”, которые создавались “идеями”. Они, как стрелочники, очень часто определяли пути, по которым динамика интересов продвигала дальше (человеческое) действие» (Давыдов 1990, с. 750). Это сопровождается ссылкой на текст Вебера, с указанием издания и страницы — и фраза о стрелочниках, действительно, представляет собой точный перевод из Вебера. Лишь внимательный и, главное, уже сведущий в Вебере читатель сможет сначала увидеть, что первая фраза грубо искажает веберовский подлинник, — а затем, задумавшись, понять, что вся цитата в целом долженствует воспроизводить не текст Вебера, а толкование этого пассажа, принадлежащее Ф. Тенбруку, концепцию которого Ю.Н. Давыдов разбирал перед этим.

24) Напомним, что всю социологию в целом (точнее — свою социологию в целом) Вебер будет определять как науку, имеющую своим предметом именно действие (а не, например, общество или социальную связь): «Социология (в том смысле этого весьма многозначного слова, который здесь имеется в виду) есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие» («Основные социологические понятия» (Вебер 1990, с. 602. Пер. М.И. Левиной). Марианна Вебер в «Жизнеописании», говоря об «Основных социологических понятиях» (первых параграфах «Хозяйства и общества»), обращает внимание на тон категорических приказаний, в котором выдержаны веберовские дефиниции: «Soziologie soll heissen <…>», «soziales Handeln soll heissen <…>», «Betrieb soll heissen <…>», «Herrschaft soll heissen <…>» и т.д. Смысл этих императивных формул Марианна Вебер толкует следующим образом: «В моей концепции эти категории должны пониматься вот так; из определенных методологических соображений я буду именовать эти конструкции вот так, а не иначе» (Marianne Weber 1926, S. 688).

25) Именно о влечении (Trieb) говорится в словах гётевского Фауста («Фауст», ч. 1, сц. 2), которыми Вебер завершает свою статью «“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (1904): Растет опять могучее желанье // Лететь за ним и пить его сиянье, // Ночь видеть позади и день перед собой, // И небо в вышине, и волны под ногами (пер. Н. Холодковского) (Вебер 1990, с. 414). Ср. замечание Р. Бендикса о принципиальной важности для Вебера понятий «Antrieb» («порыв») и «Triebkraft» («влекущая сила»), когда речь идет о характеристике мотивационного потенциала протестантской этики. «Показательно, однако, — подчеркивает Бендикс, — что Вебер не использовал термин Anreiz [«побуждение» — от reizen «возбуждать, раздражать»], который был бы более точен» (Бендикс 1994, с. 586, примеч. 20; цитирую русский перевод с небольшими изменениями). К веберовскому использованию понятия «Trieb» в контексте экономической проблематики ср. также фрагмент из его полемики с Карлом Книсом в статье «Рошер и Книс и логические проблемы исторической национал-экономии» (Weber 1922, S. 139—140).

26) «Вебер и Маркс» — тема обширной научной литературы, из которой мы сошлемся на первопроходческую работу Карла Лёвита (Löwith 1993 [1932]), основополагающую статью Юргена Коки (Kocka 1985 [1966]) и соображения Вольфганга Моммзена в его книге «Век бюрократии» (Mommsen 1974a, p. 67 ss.).

27) Шивельбуш называет этот стереотип «топосом» ранних описаний железнодорожного путешествия (Schivelbusch 1986, p. 10).

28) Типичный пример развертывания этого топоса мы находим в первой части поэмы Альфреда де Виньи «Хижина пастуха» (1844). Процитируем лишь строфу, касающуюся «уничтожения времени»: Не будем дел иметь с дорогою железной. // С такою быстротой по ней летит вагон, // Что кажется стрелой, свистящею над бездной, // И пассажир его возможности лишен // Дышать всей грудью, взор в пейзаж вперив беспечно: // Он видит лишь одно в природе бесконечной — // Тяжелый грязный пар, что молнией пронзен (пер. Ю.Б. Корнеева). Образ летящей стрелы тоже соотносится с первоначальной метафорикой железнодорожного путешествия: мчащийся поезд постоянно уподоблялся артиллерийскому снаряду, человек в поезде чувствовал себя ядром, которым выстрелили из пушки и которое стремительно летит по прямой сквозь ландшафт (Schivelbusch 1986, p. 53—54).

29) Шивельбуш приводит, например, высказывание английского политика Томаса Криви, так описывавшего в 1829 г. свою поездку на знаменитом паровозе Стефенсона «Ракета»: «Вы действительно летите и не можете отделаться от мысли, что при малейшей случайности всех ждет мгновенная смерть» (цит. по: Schivelbusch 1986, p. 15).

30) Есть важный момент, который требуется особо подчеркнуть: все стереотипы восприятия железной дороги, о которых здесь идет речь, характеризуют исключительно восприятие, присущее привилегированным классам. Радикально иным было переживание железнодорожного путешествия у низших классов, поскольку низшие классы имели крайне ограниченный доступ к поездкам в экипажах и, тем более, каретах: низшие классы влились в общую массу путешественников лишь с приходом железнодорожной эры. В силу отсутствия привычки к путешествиям в экипаже представители низших классов гораздо проще адаптировались к опыту железнодорожных поездок. Следует отметить и то, что железнодорожная поездка в общих вагонах третьего и четвертого класса всюду и всегда протекала по совершенно иному сценарию, чем поездка в купированных вагонах первого и второго класса. Эта разница была впоследствии лаконично описана Блоком: Молчали желтые и синие, // В зеленых плакали и пели — на самом деле, не только плакали и пели, но также разговаривали и смеялись. Подробнее см.: Schivelbusch 1986, р. 66—67.

31) Подробнее см.: Schivelbusch 1986, р. 52—79.

32) См.: Schivelbusch 1986, р. 38—39. Шивельбуш рассматривает железнодорожное путешествие как важнейшую форму вовлечения людей в систему товарного производства и потребления. Железнодорожное путешествие анализируется им как товарное опредмечивание и пространства, и времени, и людей. В своих разборах Шивельбуш неизменно опирается на анализ товарного производства у Маркса.

33) Вполне можно было бы истолковать метафору «революции — локомотивы истории» и в ином смысле, основываясь как раз на ощущениях пассажира в мчащемся вагоне: непрерывно сменяющие друг друга события и катаклизмы революционного времени были бы уподоблены пейзажам, которые мелькают за окном поезда. С таким уподоблением могли бы, вероятно, согласиться многие из тех, кому довелось жить в революционные эпохи. Важно, однако, подчеркнуть, что главная идея такого уподобления состояла бы в невозможности для человека удержать непрерывную память о революционных событиях, поскольку таких событий слишком много и они сменяются слишком быстро. Точно так же, как революции постепенно приводят население к психической усталости, железнодорожные путешествия постоянно приводили первых пассажиров к психическому переутомлению от невозможности уследить за меняющимися пейзажами: после-дующие поколения даже не пытались следить за изолированными элементами ландшафта, они стали воспринимать ландшафт размыто-панорамно; их внимание стало рассеянно-экстенсивным (Schivelbusch 1986, р. 52—69). Однако такое прочтение метафоры полностью противоречило бы контексту рассуждений Маркса: Маркс рассматривает здесь революционный процесс не как производство забвения, а как производство памяти.

34) Впоследствии, перебравшись в Берлин и став парламентарием, Макс Вебер-старший будет активно представлять интересы Тюрингского железнодорожного общества в бюджетных комиссиях рейхстага и ландтага, пытаясь в 1870-е гг. противостоять курсу Бисмарка на полное огосударствление железных дорог. Разумеется, попытки либералов противостоять Бисмарку окажутся в конечном счете безуспешны: в 1880-х гг. львиная доля германских железных дорог полностью перейдет в руки государства. Что касается Макса Вебера-младшего, то он отметит в письме Иоганну Пленге от 5 июня 1909 г.: «Фактически беда всей нашей конституционной жизни основывается на том, что Пруссия используется как инструмент для достижения господства над железными дорогами» (см.: Roth 1995b, S. 294, S. 299, примеч. 41).

35) Кто такая «Софихен», нам не известно. Муниципальный советник по строительству Тиде был сослуживцем Макса Вебера-старшего; его жена стала крестной матерью Анны, рано умершей дочери Веберов.

36) Бад-Пирмонт — нижнесаксонский курорт с солеными источниками.

37) Точный адрес дома в XIX в. — Karthäuser Steg 43b (см.: Roth 1995b, S. 294). В настоящее время адрес дома — Juri-Gagarin-Ring, 10 (за эту информацию приношу благодарность Наташе Друбек-Майер).

38) Так, Марианна выдвигает в центр своего повествования образ матери Макса, всячески минимизируя роль отца в жизни семьи и в сознании Макса Вебера-младшего (см.: Roth 1995b, S. 272); она полностью обходит молчанием многолетнюю влюбленность Вебера в Эльзу фон Рихтгофен (в замужестве Яффе), осложнившуюся соперничеством за Эльзу между Максом и его братом Альфредом и увенчавшуюся бурным романом между Эльзой и Максом в последние годы жизни Макса (см.: Roth 1995a, S. 13, S. 42—45; Chol-uj 1995, S. 251—256); несомненно, может быть указано и множество других аспектов биографии Вебера, о которых Марианна предпочла не говорить.

39) О семейных травмах см. монографию Mitzman 1970, заложившую основы психоаналитической интерпретации творчества Вебера. Тему семейных травм акцентирует в своей книге и Е.И. Кравченко (2002). К вопросу об эротических травмах см. статьи Schwentker 1987 и Choluj 1995 (последняя содержит наиболее полную на сегодня сводку материалов и литературы по данной теме). Мы полагаем, что психоаналитическая интерпретация творчества Вебера в принципе вполне легитимна и, более того, насущно необходима; мы также полагаем, что при психоаналитической интерпретации рассказ Вебера о крушении поезда не просто может, но и должен быть истолкован именно в рамках проблематики вытеснения и замещения. Однако наша статья написана не с психоаналитической точки зрения: нас интересует не «Id», а «Ego» и «Super-Ego» у Вебера.

40) Например: «Если на вопрос, прошел ли уже поезд определенную станцию, следует ответ “возможно”, то это означает, что отвечавший субъективно не знает факта, который мог бы исключить такое предположение, но вместе с тем не может с уверенностью это утверждать» («Критические исследования в области наук о культу-ре»: Вебер 1990, с. 473. Пер. М.И. Левиной). Показательно, что Гюнтер Рот в своей статье об эрфуртском детстве Вебера, перечисляя все железнодорожные реалии биографии Вебера (в том числе — и эпизод с крушением поезда), ставит их в связь только с одним пассажем из веберовского наследия, а именно с уже известной нам «метафорой стрелочника»: «Кто не знает той, сегодня уже старомодно звучащей, железнодорожной метафоры, которая была ему, так сказать, дарована в его эрфуртской колыбели и которая выражает центральную мысль его социологии и теории исторического развития [далее следует цитата о стрелочниках]»; этой цитатой Рот и завершает свою статью (Roth 1995b, S. 295).

41) Именно такова была первая железнодорожная катастрофа, вошедшая в анналы истории: крушение пассажирского поезда на линии Париж—Версаль в районе Медона 18 мая 1842 г. Парижане возвращались домой после дня, проведенного в Версале; у локомотива сломалась ось, он сошел с рельсов, в поезде вспыхнул пожар. Пассажиры не могли выбраться из охваченных огнем деревянных вагонов, поскольку все купе были изолированными и каждое имело только наружную дверь, которая, согласно тогдашней технике безопасности, была заперта на ключ. В огне погибло 55 из 770 пассажиров.

42) Проблеме железнодорожных катастроф и безопасности на железнодорожных дорогах была посвящена изданная в Лейпциге в 1854 г. книга, автора которой, по иронии судьбы, звали Макс Мария фон Вебер (1822—1881; это был племянник композитора Карла Мария фон Вебера): Weber 1854. На протяжении всей второй половины XIX в. в Германии выходили книги фон Вебера, посвященные железнодорожному делу, а также написанная им биография К.М. фон Вебера (впервые опубликованная в 1864 г.).

43) «Предварительные замечания» к первому тому «Сочинений по социологии религии» (Вебер 1990, с. 58. Пер. М.И. Левиной). Разумеется, «удары рока» обладали для Вебера, как и для всякого культурного европейца той эпохи, вполне конкретной звуковой реальностью: это были первые такты Пятой симфонии Бетховена (в эпоху Вебера было принято исполнять их в патетически-замедленном темпе). О месте музыки в жизни Вебера см.: Honigsheim 1968 [1963], p. 83—89 («Для Вебера музыка была почти жизненно важным элементом, и он относился с особой благожелательностью к людям, наделенным музыкальной восприимчивостью», — p. 83).

44) «Своей личной судьбе он при этом не придавал значения, даже говорить об этом казалось ему недопустимым. Если ему угрожала гибель от вражеских бомб, большевизма или болезни, то это “его не интересовало”, так как находилось вне сферы его созидающей смысл воли» (Ясперс 1994, с. 563). Говоря о своих отношениях с политикой, Вебер уподобляет себя «одноконному экипажу» в письме к К. Гаусману от 01.05.1917 (см.: Патрушев 1992, с. 86). Подробнее о метафорах экипажа и фиакра у Вебера см. в следующем разделе нашей статьи.

45) «“Социальным” мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него» («Основные социологические понятия»: Вебер 1990, с. 603. Пер. М.И. Левиной).

46) «Национальное государство и народнохозяйственная политика» (Вебер 2003, с. 22—24).

47) Цит. по: Marianne Weber 1926, S. 174.

48) Marianne Weber 1926, S. 176.

49) Вебер 1990, с. 644. Пер. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденко.

50)Цит. по: Marianne Weber 1995, p. 192.

51)Вебер 1990, с. 675. Пер. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденко; выделено автором.

52) Веберовская идея плебисцитарно-вождистской демократии и связанная с ней гипотетическая ответственность Вебера за приход Гитлера к власти — одна из «горячих точек» вебероведения. Резко сформулировал свою позицию Вильгельм Хеннис: «Политическая наука могла бы показать полный провал Вебера как политического теоретика. Если он своей концепцией “плебисцитарной демократии вождя” способствовал тому, что-бы проложить дорогу Гитлеру к власти, то можно считать, что он сделал гораздо больше. Ибо десятки тысяч студентов американских колледжей не сравнить с дюжиной веймарских политиков, которые в конце эпохи Веймарской республики еще вспоминали об участии Вебера в создании ее конституции. Студенческая массадоверчиво приняла его “conceptofplebiscitarydemocracy”. Результатом стало существенное ослабление и путаница в понимании концепции президентства в Америке и сути демократии. Серьезная книга Роберта Эдена “Political Leadership and Nihilism. A Study of Weber and Nietzsche” (1983) делает крен именно в эту сторону, а в работе Аллана Блума “The Closing of the American Mind” Веберу отведена важная роль американского рока» (Хеннис 1997, с. 65. Пер. Р.П. Шпаковой). Более развернутую и гораздо более сдержанную по форме, но аналогичную по сути оценку дает Вольфганг Моммзен (Mommsen 1974b, S. 416—441, особенно S. 435—441; Моммзен не затрагивает вопроса о воздействии идей Вебера на политическую жизнь США).

53) «Вместо того, чтобы заботиться о том, что касается политика: о будущем и ответственности перед ним, этика занимается политически стерильными — в силу своей неразрешимости — вопросами вины в прошлом» (Вебер 1990, с. 694; выделено нами). С этого пассажа начинается та часть доклада, которая посвящена важнейшей для Вебера теме разграничения двух несовместимых видов этики («этика ответственности», исходящая из вопроса о практических последствиях всякого политического действия, и «этика убеждений», исходящая из абстрактных моральных императивов и игнорирующая вопрос о последствиях). Ср. разграничение двух типов политического деятеля в концепции Реймона Арона (см. примеч. 58).

54) Вебер 1990, с. 694.

55) Цит. по: Mommsen 1974b, S. 151 (эта же цитата приведена и в Marianne Weber 1926, S. 130).

56) Ср. позднейшую — предсмертную — автохарактеристику Вебера в его письме к сенатору Карлу Петерсену от 14 апреля 1920 г.: «Политик обязан и должен заключать компромиссы. Но я по профессии [von Beruf] — ученый» (выделено автором; цит. по: Mommsen 1974b, S. 334). Впрочем, принципиальная двусмысленность немецкого слова Beruf оставляет здесь неразрешимым вопрос о том, что в данном случае имел в виду Вебер: одну только профессию либо же — и профессию, и призвание? Тот факт, что Вебер не стал профессиональным политиком, нисколько не отменяет его глубокой вовлеченности в немецкую политику на протяжении всей жизни. См. об этом фундаментальное исследование: Mommsen 1974b.

57) Подробнеесм.: Marianne Weber 1995, р. 239—243.

58) Ср. суждение Реймона Арона, который в своей книге «Введение в философию истории» (1938) противопоставляет два типа политиков («политиков рассудка» и «политиков Разума»): «Политик рассудка — Макс Вебер, Ален — стремится к сохранению определенных благ, мира, свободы или желает добиться единственной цели — национального величия, — но всегда в новых ситуациях, которые неорганизованно следуют друг за другом. Он подобен лоцману, который плывет, но не знает, где находится порт. <…> Политик Разума, напротив, по крайней мере, предвидит будущий конец эволюции. Марксист знает о неизбежном исчезновении капитализма, и единственной проблемой является адаптация тактикик стратегии». Арон так резюмирует антиномию двух этих идеальных типов: «В одном случае стратегия представляет собой постоянно обновляющуюся тактику, в другом же — тактика подчиняется стратегии <…> Одно положение рискует дегенерировать до покорности, другое — до слепоты; одно положение превращается в бессилие из-за того, что вверяется истории, другое тоже становится бессильным из-за того, что забывает историю; одно положение более мудрое, другое более героическое. Это значит, что всякая политика одновременно является и тем, и другим» (Арон 2000, с. 507). Эта концепция Арона, судя по всему, представляет собой переосмысление веберовского разграничения между «этикой ответственности» и «этикой убеждений», но переосмысление весьма существенное. Если перейти из системы координат Вебера в систему координат Арона, то, согласно логике Арона, именно потому, что Макс Вебер слишком близко подходил к одному из двух полюсов антиномии (так, как ее формулирует Арон), Вебер был плохим политиком.

59) Гайденко 1990, с. 29—30.

60) Ср. оценку Моммзена: «Все его [Вебера] научное творчество, его непреклонное стремление к интеллектуальной честности и научной объективности может быть в известном смысле истолковано как одна непрерывная и грандиозная попытка обрести дистанцию и внутреннюю свободу по отношению к злободневным событиям практической политики» (Mommsen 1974b, S. 1).

61) «Предварительные замечания» к первому тому «Сочинений по социологии религии» (Вебер 1990, с. 44).

62) Ср. веберовское введение к «Древнему иудаизму» (3-му тому «Сочинений по социологии религии»). Вебер ставит здесь вопрос о всемирно-историческом значении иудаизма: оно усматривается Вебером в высоко рациональной религиозной этике внутримирского действия. «В большой мере эта этика все еще служит основанием нынешней религиозной этики, присущей цивилизациям Европы и Малой Азии» (Weber 1923, S. 6). Иудаизм послужил основой для христианства, а с другой стороны, стимулом и отчасти образцом для пророчества Магомета. «Поэтому, когда мы рассматриваем условия раз-вития иудаизма, даже оставляя в стороне важность евреев как народа-парии для хозяйственной жизни Средневековья и Нового времени, мы имеем дело, учитывая основополагающую роль, сыгранную этой религией во всемирной истории, с осевой точкой всего культурного развития Запада и Ближнего Востока. По своей важности для всемирной истории можно сравнить с иудаизмом лишь развитие греческой культуры, а в Западной Европе — историю римского права и историю римской католической церкви, которая опиралась на римское понятие служения, затем иерархический порядок средневекового общества и, наконец, протестантизм […]» (Weber 1923, S. 7).

63) Свою позицию по общим вопросам методологии познания Вебер впервые подробно обосновал в трех обширных полемических статьях 1903—1906 гг. Это статьи «Рошер и Книс и логические проблемы исторической национал-экономии» (1903—1906), «“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (1904) и «Критические исследования в области логики наук о культуре» [полемика с Эдуардом Мейером] (1906).

64) Это представление, которое противостоит концепции двух периодов творчества Дильтея, изложенной, например, у Гадамера (1988), сложилось в ходе работы немецких текстологов над изданием рукописного архива Дильтея (1970—1990-е гг.) и подробно обосновано в обзорной монографии Н.С. Плотникова (2000, с. 56—59). Чуть иначе расставляет акценты В.А. Куренной в своем редакторском предисловии к 3-му тому русского собрания сочинений Дильтея, однако и он подчеркивает отсутствие «дисконтинуального <…> поворота» в творчестве Дильтея (Куренной 2004, с. 12).

65) Цит. по: Плотников 2000, с. 215.

66) Дильтей 2004, с. 253.67 Дильтей 2004, с. 253—255; Куренной 2004, с. 22.68 Куренной 2004, с. 22.69 Там же; цитата из Дильтея заимствована Куренным со с. 254.

70) Разумеется, Дильтей всегда стремился максимально рафинировать и нюансировать свою концепцию. Применительно к проблеме «понимание vs. каузальное объяснение» у Дильтея ср. оценку Гадамера: «[Для Дильтея] проблема истории состоит не в том, как вообще становится переживаемой и познаваемой взаимосвязь, а в том, как должны познаваться и такие взаимосвязи, которые как таковые никем не переживаются. И все же бесспорным представляется то направление, в котором Дильтей мыслил себе прояснение данной проблемы на основе феномена понимания. Понимание — это понимание выражения. В выражении выражаемое наличествует по-другому, чем причина — в следствии. Оно само присутствует в выражении и становится понятным, когда понято выражение. С самого начала Дильтей стремился к тому, чтобы отделить отношения духовного мира от причинных взаимосвязей природы, и потому понятие выражения и понимание выражения сразу стали для него центральными» (Гадамер 1988, с. 274. Пер. А.А. Рыбакова).

71) Об этом идеологическом субстрате немецкого Bildung см. в первую очередь вторую главу основополагающей работы Ringer 1990. Ср. рингеровскую характеристику, относящуюся уже к веймарскому периоду: «В политике ли, в собственно ли научных делах для мандаринов был характерен особенно “возвышенный” стиль речи. Вся их традиция запрещала признавать какие бы то ни было ограничения свободы и могущества чистого духа (Geist) <…> Нарушителей этих норм легко и быстро клеймили “материалистами” или “позитивистами”» (Рингер 2002, с. 133).

72) «О некоторых категориях понимающей социологии» (Вебер 1990, с. 495. Пер. М.И. Левиной).

73) В 1858 г. зять Шлейермахера и хранитель его архива Людвиг Йонас привлек Дильтея к подготовке собрания сочинений Шлейермахера. После смерти Йонаса в 1859 г. Дильтей взял на себя обязанности издателя и подготовил к печати два тома переписки и рецензий Шлейермахера. С работой над архивом Шлейермахера была также связана и первая крупная работа Дильтея — его конкурсное сочинение о герменевтике Шлейермахера (Плотников 2000, с. 33—34). Сочинение Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики», представленное на конкурс в 1860 г. и удостоившееся двойной премии, теперь опубликовано на русском языке (Дильтей 2001, с. 13—234). В 1870 г. Дильтей издал первый том задуманной им обширной биографии Шлейермахера: именно этот труд принес ему мировую известность. О месте герменевтики в методологической программе Дильтея см.: Куренной 2004, с. 12—13. Ср. также: Гадамер 1988, с. 232—245 (о шлейермахеровском проекте универсальной герменевтики), 273—281 (о герменевтической модели в построениях Дильтея).

74) Отождествление осмысленности с целенаправленностью ярко проявляется, например, в следующем программном определении Вебера: «Чуждыми смыслу остаются все процессы или явления (живой или мертвой природы, связанные с человеком или происходящие вне его), лишенные предполагаемого смыслового содержания, выступающие не в качестве “средства” или “цели” поведения, а являющие собой лишь его повод, стимул или помеху» («Основные социологические понятия» (Вебер 1990, с. 606. Пер. М.И. Левиной; курсив автора)).

75) «Работы Шлейермахера и Бёка о “герменевтике” не будут здесь рассматриваться, поскольку они не преследуют целей, относящихся к теории познания» (Weber 1922, S. 91, примеч. 2).

76) См.: Weber 1922, S. 64, 94—95.

77) Содержательное сопоставление Дильтея с Вебером см. в обширном примечании русского переводчика к докладу «Наука как призвание и профессия» (Вебер 1990, с. 723).

78) Марианна Вебер сообщает в «Жизнеописании», что Вебер прочитал Шопенгауэра, еще будучи гимназистом (cм.: Marianne Weber 1926, S. 48).

79) Этому высказыванию тоже не повезло в русском переводе: в недавнем русском издании Шопенгауэра, где диссертация «О четверояком корне…» напечатана в новом пере-воде М.И. Левиной, который редактировали Б.В. Мееровский и И.С. Нарский, данная фраза выглядит так: «Следовательно, закон каузальности не столь податлив, чтобы позволить пользоваться им как фактором [sic! — С.К.], который, достигнув места назначения, отправляют домой» (Шопенгауэр 1993, с. 32). Мы воздержимся от каких-либо комментариев по этому поводу.

80) Ясперс 1994, с. 557. Гонигсгейм, вспоминая о том, насколько Веберу был противен Гегель, пишет: «Он [Вебер] выразил полное согласие с человеком, как-то раз заявившим: “Тот, кто сегодня использует слово “синтез”, не уточняя его смысла, заслуживает оплеухи”» (Honigsheim 1968, p. 14).

81) Например: «Отождествление, с одной стороны, детерминированности с законосообразностью, а с другой стороны — “свободного” действия с действием “индивидуальным”, то есть не подлежащим классификации [nicht gattungsmäßigem], — элементарное заблуждение, которое, однако же, встречается далеко не только у Книса» (Weber 1922, S. 45).

82) О каузальном сведéнии как задаче исторического и социологического знания см., в частности: Вебер 1990, с. 56, 59, 362, 366—373, 376—378, 382, 389, 424—425, 464—486, 495, 500, 505, 509, 593—594, 611—612.

83) «Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре состоит не в том, что мы считаем определенную — или вообще какую бы то ни было — “культуру” ценной, а в том, что мы сами являемся людьми культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную позицию по отношению к миру и придать ему смысл. Каким бы этот смысл ни был, он станет основой наших суждений о различных явлениях совместного существования людей, заставит нас отнестись к ним (положительно или отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас культурное значение, которое только и придает им научный интерес» («“Объективность” социально-научного и социально-политического познания»: Вебер 1990, с. 379. Пер. М.И. Левиной; курсив автора).

84) Там же. С. 369. Курсив автора.

85) «Критические исследования в области логики наук о культуре» (Вебер 1990, с. 470).

86) Значение этих дисциплин для формирования методологии Вебера подробно рассмотрено в монографии Turner & Factor 1994 (см. особенно p. 119—165). Фриц Рингер в своей книге о Вебере (Ringer 2000, p. 63—91), на которую во многом опирается наше дальнейшее изложение, резюмирует суть вопроса, подчеркивая основополагающее значение веберовской техники каузального анализа единичных феноменов для «соединения наук о культуре и наук об обществе» (подзаголовок монографии Рингера), то есть гуманитарных и социальных наук. Согласно программной формуле Рингера, «Вебер не был <…> ни позитивистом, ни идеалистом. Он был каузалистом» (р. 62; курсив автора).

87) Многообразие научных интересов, значимость научных результатов, достигнутых в совершенно разных областях, и подспудное влияние, оказанное на нескольких крупнейших ученых XX в., делают фон Криса интереснейшей фигурой в истории научного знания. Ученик Гельмгольца, специалист по физиологии восприятия и философ-неокантианец, профессионально занимавшийся теорией вероятности, фон Крис с 1880 по 1924 г. преподавал физиологию во Фрейбургском университете где с 1894 по 1896 г. служил профессором и Макс Вебер; Марианна Ве-бер вспоминает о голиардических подвигах Вебера на двух банкетах, организованных в честь фон Криса (Marianne Weber 1926, S. 217). Лишь в последнее десятилетие историки науки начинают приоткрывать интеллектуальное воздействие, оказанное фон Крисом не только на Вебера, но также на Витгенштейна (тема изысканий тюбингенского науковеда Михаэля Гейдельбергера) и на Джона Мейнарда Кейнса (тема работ болонского специалиста по математической экономике Гвидо Фьоретти).

88) Ссылки на фон Криса содержатся во втором разделе статьи Вебера «Критические исследования в области логики наук о культуре» (Вебер 1990, с. 464—494). Этот раздел, озаглавленный «Объективная возможность и адекватная причинная обусловленность в историческом рассмотрении каузальности», весь является прямым развитием идей фон Криса.

89) «Заметим сразу же, что вследствие самой природы исторического “объекта” для методологии истории имеют значение лишь самые элементарные компоненты теории Криса. Заимствование строгих принципов чистого “исчисления вероятностей” не только невозможно в каузальном историческом исследовании, что само собой разумеется, но даже попытка аналогичного использования этой точки зрения требует большой осторожности» (Вебер 1990, с. 490, примеч. 32. Пер. М.И. Левиной, с изменением).

90) Вебер 1990, с. 467. Пер. М.И. Левиной; выделено нами. Далее Вебер подробно развивает свою мысль: «Ведь “антропоцентрично” ориентированы так же, как история, и проблемы правосудия; другими словами, в них задается вопрос о каузальном значении человеческих “действий”. Совершенно так же, как вопрос о причинной обусловленности конкретного правонарушения <…>, проблема причинности в истории всегда ориентирована на сведéние конкретных результатов к их конкретным причинам, а не на выведение абстрактных “закономерностей”» (Вебер 1990, с. 467—468. Пер. М.И. Левиной, с изменением). Затем Вебер оговаривает, что на последующем этапе путь правосудия и путь истории расходятся, поскольку правосудие, в отличие от истории, должно еще решать и практический вопрос о возможности квалифицировать установленную причину того или иного правонарушения как наказуемую вину того или иного индивида. «Данный вопрос, — вполне по-кантиански заключает Вебер, — уже не является чисто каузальной проблемой <…>; это уже проблема криминальной политики, ориентированной на этические и иные ценности» (Вебер 1990, с. 468). Отметим, что саму идею сопоставления истории с правосудием изначально должен был подсказывать Веберу поэтический афоризм Шиллера «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht» («Всемирная история есть всемирный [т.е. Страшный] суд», — из стихотворения «Resignation» [в рус. пер. Н. Чуковского — «Отречение»], ст. 95); эту формулу Гегель использовал для выражения своей философии истории («Философия права», §§ 341—342), и благодаря Гегелю афоризм Шиллера стал общеупотребительным в немецкой культуре. О немецкой рецепции этого афоризма в эпоху Вебера см.: Vondung 1980; ср. позднейшие интерпретации этого афоризма: в экзистенциалистской перспективе — у Л.Я. Гинзбург (1989); в плане методологии исторического нарратива — у Рейнгарта Козеллека (Koselleck 1979 [1972], S. 145—146). Вебер никогда не был гегельянцем, зато само стихотворение Шиллера, в трагической форме ставящее проблему экзистенциального выбора, чрезвычайно родственно всему мировоззрению Вебера (напомним, что Шиллер, как и Вебер, и фон Крис, был кантианцем: об отношении Вебера к Гегелю и к Канту см.: Honigsheim 1968 [1963], p. 14). Заданная в стихотворении Шиллера семантическая связь между понятиями «Resignation» и «[Welt]geschichte» была в высшей степени актуальна для сознания Вебера:ср. рассказ Гонигсгейма о его первой встрече с Вебером: «Я прямо сказал ему [Веберу], что не читал ни строчки из написанного им и ничего не знаю о платформе, на которой он стоит, после чего сразу выпалил: “Я хочу быть историком, хотя заранее знаю, что это будет означать для меня горькую резиньяцию”. “Да, именно так, — ответил Вебер, — это означает резиньяцию”. Он пронзительно взглянул на меня, и я понял, что удостоился его одобрения» (Honigsheim 1968 [1963], p. 33).

91) Здесь напрашивается сопоставление веберовской методологии «единичного каузального анализа» с так называемой «уликовой парадигмой», широко распространившейся в гуманитарных науках в первые десятилетия XX в. (подробную характеристику «уликовой парадигмы» см. в известной работе Карло Гинзбурга: Гинзбург 2004). Такое сопоставление представляется интересным и важным, поскольку речь идет о двух синхронных друг другу тенденциях, между которыми имеются как моменты основополагающего сходства, так и моменты существенного расхождения. Между двумя этими парадигма-ми обнаруживается полная тождественность в постановке исходной задачи (такой задачей в обоих случаях является «каузальное сведéние» единичных феноменов); отсюда вытекает осознаваемая или неосознаваемая близость обеих парадигм к криминалистике. Дальнейшим моментом сходства является то, что вспомогательным приемом для достижения конечной цели в обеих парадигмах служит поиск «неосложненных», «чистых» модусов самопроявления индивида — однако здесь же начинаются и расхождения, поскольку веберовская парадигма мыслит такой поиск как условно-гипотетическое конструирование чисто целерационального, то есть абсолютно сознательного, идеального поведения; тогда как уликовая парадигма, наоборот, ищет периферийные участки наибольшей бессознательности в реальном поведении индивида. В конечном счете, две эти парадигмы, исходящие из одной и той же задачи, порождают два совершенно несхожих типа повествований; весь комплекс факторов, обусловливающих это несходство, заслуживает специального изучения. Постановку вопроса об эпистемологическом соотношении веберовской программы с «уликовой парадигмой» см. также в статье: Strong 1987, p. 471.

92) Kries 1888, S. 180—195.

93) Ringer 2000, p. 66.

94) Kries 1888, S. 195—201.

95) «Я полностью отдаю себе отчет, в какой мере здесь, как неоднократно и раньше, заимствованы идеи Криса; к тому же наша формулировка в силу обстоятельств уступает по своей точности формулировкам Криса. Однако для цели нашего исследования то и другое неизбежно» (Вебер 1990, с. 493, примеч. 41. Пер. М.И. Левиной).

96) Показательно, что Реймон Арон в своей ранней книге «Критическая философия истории: Эссе о немецкой теории истории» (1938), излагая веберовскую концепцию каузального анализа и стремясь проиллюстрировать ее понятными примерами, сразу же прибегает к примеру железнодорожной катастрофы: «Историческое объяснение регрессивно, потому что историк располагается за событиями и должен идти от следствий к причинам. Но эксперт, призванный к тому, чтобы восстановить ход аварии на железной дороге, находится в том же положении» (Арон 2000, с. 161). К этому же примеру Арон прибегает, уже вне прямой связи с Вебером, и в своей книге «Введение в философию истории», изданной, как и предыдущая книга, в 1938 г.; параграф «Каузальность и ответственность» начинается здесь словами: «Логическая схема каузальности остается во всех смыслах слова формальной. Эксперт, расследующий причины столкновения на железной дороге, пытается уточнить особые обстоятельства, которые непосредственно предшествовали несчастному случаю (неосторожность, плохая видимость и т.д.), и относительно постоянные данные (состояние дороги, система сигнализации и т.д.), которые более или менее благоприятствовали катастрофе (которые увеличивали число вариабельных причин, могущих вызвать катастрофу). Эксперт и историк ставят также вопрос об ответственности» (Арон 2000, с. 359). Ход мыслей Арона прямо воспроизводит здесь пробабилистскую концепцию фон Криса и Вебера (тоже связанную с вопросом о вменении ответственности). Поскольку Арон был знаком с книгой Марианны Вебер о Максе Вебере, мы допускаем, что он точно так же сблизил концепцию Вебера с его детскими железнодорожными впечатлениями, как это делаем мы в настоящей статье.

97) Вебер 1990, с. 470. Пер. М.И. Левиной; курсив автора.

98) Вебер 1990, с. 483. Пер. М.И. Левиной; курсив автора.

99) Ringer 2000, p. 77. Здесь, как и в случае с идеей «фюрерства», следовало бы также принять во внимание согласие между концепциями Вебера и базовой метафорикой немецкого языка. Пространственно-динамический характер метафор, передающих веберовскую концепцию каузальности, изначально связан с семантическим полем немецкого глагола laufen — «бежать». Именно глагол laufen и его дериваты образуют в немецком языке сеть абстрактных понятий, описывающих разнообразные аспекты процессуальности: Lauf — «бег, ход, движение, течение», Verlauf — «течение, ход, протекание», Ablauf — «исход, истечение» и т.д. Ни английский, ни русский язык не позволяют передать эту метафорическую связность с необходимой последовательностью и смысловой адекватностью. (Так, в русском языке аспекты процессуальности схватываются сетью понятий, образованных не от активно-целеполагающего «бежать», «идти», а от пассивного «течь»: «течение», «протекание», «истечение».)

100) «О некоторых категориях понимающей социологии» (Вебер 1990, с. 495).

101) «Целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий, кто рационально рассматривает отношение средств к цели и к побочным результатам и, наконец, отношение различных возможных целей друг к другу, то есть действует, во всяком случае, не аффективно (преж-де всего не эмоционально) и не традиционно» («Основные социологические понятия» (Вебер 1990, с. 629)).

102) «Реальное поведение чрезвычайно редко (например, в ряде случаев на бирже), и то только приближенно, соответствует конструкции идеального типа [целерациональности]» (Там же. С. 609).

103) «Так, например, для рассмотрения “биржевой паники” целесообразно сначала установить, каким было бы рассматриваемое поведение без влияния иррациональных аффектов, а затем ввести эти иррациональные компоненты в качестве “помех”. Равным образом и при исследовании какой-либо политической или военной акции целесообразно установить, каким было бы поведение участников события при знании ими всех обстоятельств дела, всех намерений и при строго целерационально (в соответствии со значимым для нас опытом) ориентированном выборе средств. Лишь в этом случае возможно свести отклонения от данной конструкции к обусловившим их иррациональным факторам» (Там же. С. 605).

104) «“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (Вебер 1990, с. 398. Пер. М.И. Левиной; курсив автора).

105) О воздействии на Вебера идей, изложенных в трактате Менгера «Исследования о методе социальных наук» (1883), а также суждений об «идеальной типологии», содержащихся в труде Еллинека «Всеобщее государственное право» (1900), см.: Ringer 2000, p. 16—17, 110—111. О дружбе Вебера с Еллинеком см.: Honigsheim 1968, p. 68— 69. Утверждение о прямой зависимости веберовского понятия «идеальный тип» от одноименной категории, введенной Еллинеком, высказывалось в категорической форме еще Марианной Вебер: по ее словам, это понятие «еще до Вебера было в том же значении использовано Еллинеком» (Marianne Weber 1926, S. 327). Напротив того, Гонигсгейм, признавая зависимость Вебера от Еллинека в вопросе о связи между кальвинизмом и капитализмом, одновременно подчеркивает, что «искать в работах Еллинека источник веберовской теории познания было бы неправильно. Ибо концепция “идеального типа” у Еллинека совершенно отлична от концепции “идеального типа” у Вебера» (Honigsheim 1968, p. 18).

106) Эта широта объема и вытекающая отсюда размытость содержания, характерная для веберовского понятия «идеальный тип», многократно становились объектом анализа для исследователей научного творчества Вебера, начиная с первого крупного вебероведа Александра фон Шельтинга. В своей книге «Наукоучение Макса Вебера» фон Шельтинг посвятил несколько страниц попыткам выстро-ить классификацию всех «идеальных типов», о которых говорится у Вебера (см.: Schelting 1934, S. 329—335, 353). По словам Рейнгарда Бендикса, «Вебер использовал этот типологический метод в ряде различных случаев, и его манера называть все “идеальными типами” лишь вызывает замешательство» (Бендикс 1994, с. 586, примеч. 21).

107) Такое соотнесение совершенно отсутствует, например, у Менгера, который, наоборот, обосновывал необходимость построения двух сепаратных наук — науки о реальном поведении конкретных социально-экономических субъектов и науки об идеальном поведении абстрактных социально-экономических субъектов. Эти две науки, по Менгеру, не могут иметь между собой ничегосущностно общего. Для Вебера же «идеальный тип» важен именно в сопряжении с той или иной конкретной реальностью: «Ведь цель образования идеально-типических понятий всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания не родовые признаки, а своеобразие явлений культуры» («“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (Вебер 1990, с. 402)).

108) «Основные социологические понятия» (Вебер 1990, с. 602; курсив наш).

109) «О некоторых категориях понимающей социологии (Вебер 1990, с. 505).

110) «“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (Вебер 1990, с. 382; выделено автором).

111) Шопенгауэр 1993, с. 39—40; насколько нам известно, вопрос об идейных связях Вебера с Шопенгауэром находился до сих пор на периферии внимания исследователей творчества Вебера.

112) «Есть науки, которым дарована вечная молодость, и к ним относятся все исторические дисциплины, перед ними в вечном движении культуры все время возникают новые проблемы. Для них главную проблему составляет преходящий характер всех идеально-типических конструкций и вместе с тем постоянная неизбежность создания новых. <…> В этой борьбе совершается прогресс исследования в науках о культуре. Его результат — постоянно идущий процесс преобразования тех понятий, посредством которых мы пытаемся постигнуть действительность» («“Объективность” социально-научного и социально-политического познания»: Вебер 1990, с. 406; выделено автором).